





Марк Шатуновский
СВЕРХМОТИВАЦИЯ

МОСКВА

2009

Поэтическая серия «Русского Гулливера»

Руководитель проекта **Вадим Месяц**

Главный редактор серии **Андрей Тавров**

Оформление серии **Валерий Земских**
Мargarита Каганова

Марк Шатуновский

Сверхмотивация. Книга стихотворений / Серия «Русский Гулливер». —
М.: Центр современной литературы, 2009. — 140 с.

ISBN 978-5-91627-012-9

© М. Шатуновский, 2009

© В. Месяц, предисловие, 2009

© Русский Гулливер, 2009

© Центр современной литературы, 2009

Марк Алексеевич Шатуновский.

Учился в МГУ, где получил первое признание как поэт в студенческой поэтической студии. Участвовал в знаменитом поэтическом семинаре К. Ковальджи, разделяя позиции и творческие установки метареализма. На протяжении многих лет выступает вместе с метареалистами в общих поэтических акциях. Один из организаторов известного московского клуба «Поэзия», объединившего большинство молодых писателей 1970–1980-х гг.

Первый сборник стихотворений «Ощущение жизни» вышел в Париже в 1990 г. В 1992 г. принят в члены Союза писателей. Автор книг «Мысли травы» (1992), «Из жизни растений» (2000), «Дискретная непрерывность любви» (1995, роман). В 1991–1992 гг. его пьеса «Траектория улитки» шла на сцене театра Московского университета. Публиковался в журналах «Знамя», «НЛО», «Постскриптум», «Glas» и др.; стихи, проза и статьи переводились на иностранные языки и выходили в Бельгии, Франции, США.

По приглашению USIA (Министерства культуры, образования и информации США) выступал с лекциями и чтением стихов в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско, Санта-Фе и на филолого-философском факультете Айовского университета, где вместе с английским писателем Рольфом Хьюзом создал журнал «100 words», издающийся вплоть до настоящего времени. Участник и один из основателей клуба поэзии Stella Art Foundation.



ЛИСТОК НА СТЕНЕ

Когда-то мне довелось познакомиться в Нью-Йорке с легендарным в артистической среде персонажем, художником, надломленным в советских исправительных учреждениях за, в общем-то, понятную страсть к самоутверждению. Он мог придти в Третьяковку, снять картину Шишкина, повесить свою и охранять ее вплоть до прихода милиции. Выставки получались недолгими, отсидки продолжительными. Жизнь художника превратилась в борьбу, общение с алкашами и ворами сломило психику, от реальности в своем сознании он отдалился.

Шатуновский начинал с того, что развешивал на стенах университета свои стихи — по тогдашним меркам серьезная идеологическая диверсия. Когда начинание (к счастью, без особых последствий) провалилось, вышел на сцену вместе Иваном Ждановым, Александром Еременко, Алексеем Паршиковым, Ниной Искренко, Юрием Арабовым, Евгением Бунимовичем... Помните эти звонкие имена? Такое не забывается. Времена изменились безвозвратно, менты могли лишь лязгать зубами — судьбы моего американского знакомого Марк избежал.

О 90-х сейчас принято говорить с брезгливостью и сожалением, но романтический дух перемен оказался для отечественной поэзии благотворен, позволил ей вырваться с кухонь и обратиться к людям, стосковавшимся по живому слову, надеявшимся найти подтверждение своим мыслям и чувствам в стихах нового поколения. Потом эта детская свежесть растворится в рефлексирующем постмодерне, в тревожной неоднозначности нынешнего безвременья, крайне нуждающегося в аналогичном заряде прямоты. Уверен, накопление разности потенциалов подошло к критическому, и пробой в вакууме (в разряженном газе?) неизбежен. Скоро заговорят. Уже заговорили.

Интонации откровения универсальны — и если ненадолго смолкают, стихия речи возвращает все на свои места. Не секрет, что постперестроечная поэзия нуждается в переосмыслении, даже в ревизии, но есть вещи очевидные, вещественные, надежно вколоченные в память нашей новой культуры и эту картину наряд милиции уже не снимет.

«что забывал язык, то вспоминала речь,
и пустоту сместив, до слуха доносила,
как коротковолновая пульсировала ночь,
и в ней взбухала мышечная сила...

...
и не было границ, отодвигавших сон,
на метаязыке калякали светила,
и плыл по гребням волн космический ясон,
руки не отнимая от кормила».

8 *Какое точное определение места речи в мироздании, одним штрихом отмеченное состояние погоды и человеческой ситуации, равнозначных пульсации космоса. Стройность мысли, которая становится последнее время чем-то сродни мужественности. Для Шатуновского существует понятие «правды», этого коренного русского существительного, замешанного не только на «истине», но и на «справедливости». Он распространяет ее на весь «русский мир», взживляет ее в предметы, и этот правдоискательский анимизм позволяет по-другому взглянуть на вещи отечественного происхождения и производства.*

Вы замечали, что автомат Калашникова и на вид, и на ощупь сходен с анатомией советского человека? Сухопарого, прогорклого, непредсказуемого, но в общем-то надежного. На него естественным образом ложится рука с незатейливой татуировкой «цени любовь и береги свободу», он соприроден «семейным» трусам и папиросам «Беломор». И автобусу «ПАЗ» тоже, и орбитальной станции «Салют», и осьмикончному крестику на шнурке, и газете «Правда». Только вот правда у Шатуновского не может уместиться в газеты, его публицистичность скорее интонационна, чем семантична. Правда растворена в воздухе, она пропитала собой все наподобие табачного дыма страстных бесед и одиноких размышлений.

«мы думали еще до своего рожденья,
предусмотрительно расфасовали чувства,
но в реку времени вошли, и развалились
египетские пирамиды правды —

нельзя их строить из съестных припасов
и правду выводить из гастронома —
она ведь не наземное строенье,
она ведь изоморфна пустоте.
она есть только в чертежах и схемах,
и если завернуть ее в газеты,
то пятнами на ней проступит совесть
и заведутся в чертежах клопы.

предусмотрительно душа вошла в предметы,
вдохнув в них полноту и невесомость,
изъятую из глаз разрозненной толпы».

Поэт инстинктивно бежит толпы, думаю, в сознании Марка четко очерчивается и категория «черни», это наследие сословного признака отечественной интеллигенции, берущего свое начало из взаимоисключающих «Вихрей враждебных» и «Боже царя храни». Он чутко, порой болезненно реагирует на политические события, яростно их не приемлет, чувствуя в происходящем возврат к прошлому, но это боль и гнев частного человека. Хрусталик его глаза, настроенный еще в эпоху перемен, преломляет нынешнюю жизнь с другого конца ретроспективы, но в этом и кроется главный талант постоянства человека, присягнувшего когда-то гуманитарным человеческим ценностям.

9

«похоже, нас с тобой, как воду, расплескало
в прошедшем времени, в реликтовых лесах,
но память все еще способна вполнакала
поддерживать во мне продолговатый страх».

Или

«дух земноводный обретает слух,
и созреванье переходит в зренье,
и стадо половецкое пастух
через шоссе ведет сквозь безвременье».

Именно настойчивой приверженностью идеалам молодости объясняется ровное уверенное движение его творческого пути: собранные в книге стихи написаны в самое разное время, но я не осмелюсь сказать без предварительной справки, когда такое-то и такое было написано. На вкус экспериментаторов стихи Шатуновского традиционны, но опыт искусства (как минимум XX века) убедительно доказал, что мы в своей работе неизменно попадаем в круг вечного возвращения — сейчас, когда порыв бесплодного внешнего и внутреннего

поиска исаяк, его стихи звучат удивительно современно. Женщины ликуют: в моду входит удобная одежда, телесные пропорции более не подлежат строгому надзору со стороны законодателей мод. И речь звучит так, как ей привычней и удобнее.

«и не выходит жизнь из строя,
хотя, казалось бы, заело
ее устройство заводное.
ее устройство заводное
уже морально устарело.
ее железные узлы...»

Алексей Парщиков пишет об авторе в письме из Кельна:

10 «Техника у него покрыта не испариной, а инеем — она классична. Они как-то хором с Ерёмой отстаивали классический стих и по-детски радовались такой плотной однообразной версификации. Он поразительный поэт, классик современного очуждения. Отталкивание? Да, есть, иногда дрожь пробирает от ёрничества, когда он о душе пишет как о системе шлангов из анимации Яна Шванкмайера, а о людях иногда так, что Декарт бы содрогнулся и собака Павлова заговорила бы. Задача Марка — загнать позитивизм и всех атеистов (если есть такие — он в этом сомневается) в нору и учинить там Воландовский праздник. Человеческие куклы, издыхающие на последней ступеньке логики, в пустоте, в полупараллели — этого у него немало. Он на самом деле художник гротеска. Иногда его литературный голос овладевает им самим, тогда он пишет лирику, продиктованную его героем, отнюдь не ангелом. Марк мне как-то говорил, что его не понимают и говорят о характерном холоде. Возможно, я сам, на семинаре у Ковальджи так выступал: впечатление механического космоса 18 в., перенесённое в нынешнюю среду бесконечного размена, напрашивается. Тут нет теплоты, к которой ты тянешься последнее время, но искусство, с которым Марк формует свои твёрдые вещи, дается только ему».

Физиологически-механические образы Шатуновского действительно оказывают гипнотическое воздействие на читателя своей зрелищностью. Пока еще не очень понятно, какие формы примет искусство постиндустриального времени, но модерн по-прежнему заораживает хитросплетением узлов и шестеренок, видимо, для того, чтобы показать, что единственное, что за этим остается и есть душа.

«в их гуще пульсирует сердце
с отростками губчатых трубок,
в них мечутся крови мохнатые тельца
и стенокардии обрубок».

Или из «самоубийства героя»:

«квадратная пуля, надламывая висок,
разваливает мир на звенящие глыбы,
они рассыпаются в стеклопесок,
и из глаз уплывают зеркальные медлительные рыбы.

...

«открываешь дверь, а за дверью — открытый космос».

Поймал себя на мысли, что «космоса» в стихах Шатуновского больше, чем любимой им Москвы. Хотя на первый взгляд перед нами именно московская поэзия, территориально обозначенная — с характерными декорациями сдавленного простора и шумом безара-вокзала.

«нет у москвы ни профиля, ни фаса,
москва — геометрическая вата,
она сгибает волны резонанса
по схеме абажурного каркаса».

11

Марк не может уйти от обобщений и это на фоне перечней и констатаций популярных нынче манер радует необычайно. Юрий Кублановский предложил в свое время простой рецепт оценки творчества: нужно понять пишет ли поэт о вечном. Достаточно одной строфы Марка Шатуновского, чтобы утвердительно ответить, что его стихи именно об этом. Шатуновский — мощнейший поэт поколения и его практическое неприсутствие в поэтическом эфире, редкие выступления в составе клуба «Поэзия», несмотря на обилие публикаций на основных мировых языках, можно воспринимать лишь как нонсенс, обидное недоразумение, ошибку, которую необходимо исправить. А что если листок, припиленный на университетской стене, окажется документом, сравнимым по значению с посланием нового бунтовщика Лютера? Стихи Шатуновского необходимо читать и знать.

«это в общем не сложно прикинуть
Царство Божье берется гурьбой».

Вадим Месяц



В ВИНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ

когда мои пять чувств баюкает такси
и превращает в чаевые,
мне снится, что они — пять сельдей иваси,
раскисшие и трупно-пищевые.
что у меня душа — беспомощный протез,
устроенный в грудной хромированной клетке,
что в темноте судьба приобретает вес
несущейся под гору вагонетки.
что, может быть, талант — всего лишь антрекот,
который можно съесть под сенью цэдээла*,

что я могу лицом уткнуться в твой живот —
в архитектурный свод, вмонтированный в тело.
ты станешь целовать свиную замшу губ,
к тому же крашенных линючим анилином,
и прижимать к себе пустого тела куб,
под мышками пропахший нафталином.
склонив лицо к зрачкам и глядя в их круги,
выскивать во мне геометризм порока
и медленно вздымать две фирменных ноги,
сработанных под стиль барокко.

но косвенной стране дан герметичный стиль:
ландшафты в колбах окоемов,
стоячая вода, текущая в бутылъ
среди доходчивых объемов.
преподает пейзаж наглядность языка,
завернута в простор подробнейшая совесть,
ладонью отклонив поверхность сквозняка,
читаю между строк неписаную повесть.
прижав к стеклу висок, стараюсь совместить
тебя, трехмерную, с общегражданским фоном.
а небо разучилось говорить,
немея перед микрофоном.

* ЦДЛ — Центральный дом литераторов.

РЕБЕНОК В КОМНАТЕ

ребенок в комнате,

то мальчик он, то занавеска,
сандалики его вбирает топкий пол,
овеществленный взгляд — пытливая стамеска,
заерзав в ящичке, пошевелила стол.

из почек у него растет настырный ясень,
но в правом легком расцветает соль,
он весь отрывочен, он видим, но не ясен,
в нем прорастает слух, закованный в фасоль.

он больше не разъят в двоих на хромосомы,
прозрачнее малька, он проще, чем малек,
и все пять чувств его на ощупь мне знакомы,
и вся его душа завернута в кулек.

(я знаю, что душа — гофрированный шланг,
в нем совершает кровь смертельную работу,
что наша внутренность — несложный акваланг,
но в мальчишке душа растет, дыша азотом.)

в нем вырастет трава, в нее уронит он
упавшие из рук случайные предметы,
чтоб я в ней находил то звезды, то кометы
и собирал в пустой продавленный бидон.

(портрет в среде обитания)

нет у москвы ни профиля, ни фаса,
москва — геометрическая вата,
она сгибает волны резонанса
по схеме абажурного каркаса.

больничный снег застиранной халата
с проженной сигаретами дырой,
в которую с прыщавой добротой
заглядывает дом, который тоже вата.

в нем женщина без головы и рук,
питаюсь баклажанною икрой,
крошит себя и пол не замечает,
и, полая внутри, заставлена вокруг,
но головы и рук ей не хватает.

(взгляд)

я жду троллейбус, прислонившись к взгляду.

взгляд заштрихован, вырван из тетради,
заучен на морозе наизусть,
к нему подколоты: бульвар в витой ограде,
квитанция на разовую грусть,
и биография, и справка об окладе...

в три четверти я вииден в этом взгляде,
который следует хранить в аптечной вате,
иначе в темноте способен он
вскрыть вены остывающей кровати
или швырнуть подушку за балкон
за то, что вся она в губной помаде.

взорвется взгляд — и станет колоннадой,
но если перед сном ты выпьешь «седуксен»,
то за ночь выйдешь за пределы взгляда
в свой дом, болеющий склерозом стен.
здесь, в этом доме, жизнь уходит в никуда,
ее сосет ноздря пустого крана,
а там, где из него сквозь воздух шла вода —
зияет штыковая рана.

ты снова гладишь время утюгом...

сентябрь-8 1

за раму сыплется с деревьев позолота,
обои шелушатся на стене,
застыл сквозняк в сквозных листах блокнота
и тянет сыростью сквозь форточку в окне.

я между двух тире живу в своей квартире,
я прописался сам не знаю в чьей вине.
деревья дешевеют. в целом мире
идут дожди, стабильные в цене.

(по москва-реке)

потухшая листва, тяжелая как скатерть,
на старческих ветвях под небом проливным
у каменной реки, в которой мокнет катер,
развешена кругом по берегам литым.

и вот течет река в разломленном пространстве,
цепляя за края, дающие искру.
на крытой палубе сидим в воскресном трансе
и держим на весу хлеб, а на нем — икру.

но все равно сойти придется снова в город,
ненастный словно звон порвавшейся струны,
ты отойдешь на шаг и приподымешь ворот,
и будешь за собой следить со стороны.

(СНЕГОПАД)

в два приема москву зачехлила зима,
охватила москву кабинетная скука;
слышно как тишина не проронит ни звука —
это длится времен круговая порука,
засыпается снег по стране в закрома.

(портрет героини)

к пальцам привязаны ниточки ваших податливых снов,
приводящие в движение пружиночки и шестеренки,
молоточки, отодвигающие запирающий память засов
и изнутри колотящие в барабанные перепонки.
вы все когда-нибудь жили в болящем старостью доме,
боясь заразиться склерозом по ночам опухающих стен —
генетической памятью вкомпонованы в тусклом объеме
и, в нем проживая, противопоставлены

в нем проживающим всем.

каждый из вас жил в этом доме

учительницей двадцати семи лет по имени «нина»,
вечерами демонстрируя зеркалу разветвленное тело свое —
анатомически родственное пианино,
облегаяемому тем, что называют «белье».

тайны нашего тела! за ними мы полезем на антресоли
и, извалявшись в пыли, достанем заброшенный образ себя

восемнадцати лет —

развернем, расправим понесший потери от моли
в наслоениях времени отложившийся след.

попробуем в него улечься — жмет в бедрах, линия живота

необратимо провисла,

грудь проваливается, недостаточен ляжкам раструб,

по европе лица протекают одер и висла

в двух морщинах: одна — у глаз, другая — у губ.

замажем географию «нондсом» (*cream cocoa butter*),

а за спиною грохочет постели пустой океан,

над подушкой ночник развернул перевернутый кратер,

перегорожена комната раскрытым романом саган.

(ВОСПОМИНАНИЕ О ГЕРОЕ)

шум воды спускаемого бачка,
вырезанный ножницами по пунктирной линии отреза,
подвешен при помощи рыболовного крючка
к поскрипыванию, отодранному от инвалидного протеза —
и вместе парят благодаря тому,
что воздух приводится в движение плавное:
это выходит в подвижную тьму,
в туалет направляясь, елена николаевна.
с кряхтением в землю садится дом,
сквозняк по форточкам бьет, не целясь...

роется в слухе бестелым кротом
тихий голос, замкнутый в эллипс,
в раковине ушной за витком виток
восходит к сознанию по спирали
и, вступая в его поток,
в глаза заглядывает: вы меня не потеряли?
прикидывается ребенком и свечкой, просит не прогонять —
материнство по вашему телу растекается воском —
он тянется, тянется вас обнять
и вырастает в мальчика в костюмчике матросском.
теперь он перевернут, а вы для него водоем,
в котором он пускает игрушечную лодку.
лодка отплывает — это фотоальбом, а не лодка —
на каждой фотографии мы его узнаем
по тщательно прожеванному подбородку.
перед ним пласты многоэтажных озер,
в них он видит себя нашим внутренним зрением:
в фас — гимназист, в профиль — на стрельбах призер,
в три четверти — в штатском, здесь засвечено
и падает дыра в темноту с ускорением.

(самоубийство героя)

квадратная пуля, надламывая висок,
разваливает мир на звенящие глыбы,
они рассыпаются в стеклопесок,
и из глаз уплывают зеркальные медлительные рыбы.
на пламя свечи из отверстия рта выползает белая мышь —
в теле отключается внутреннее освещение,
тишина проникает откуда-то с крыш —
откинувшись, слушаешь земное вращение.
встаешь и уходишь, оставляя тело в убитом пальто,
покидаешь свой необитаемый раздавленный корпус.
бежать скорее, чтоб тебя здесь не встретил никто.
распахиваешь дверь — за дверью открытый космос.

(ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА)

наконец эти организмы улеглись в свои постели,
в них теперь затухает пищеварительный процесс,
и в каждом отдельно взятом теле
начинается действие потовыделительных желез.

пока они спят, проведем инвентаризацию:
номер первый — елена николаевна семидесяти трех лет,
ей снится бомбежка в эвакуацию,
станция, затянутая дымом пожаренных ею сегодня котлет.

номер второй — василий алексеевич отсутствует в кровати,
он попал в притяжение трех трельяжных зеркал
и ныряет в них перед сном в сатиновых трусах и халате,
оставляя на тумбочке со вставными челюстями
и кипяченой водою бокал.

номер третий — александра ивановна кусаема клопами,
номер четвертый — иван алексеевич видит незрячие сны,
номер пятый — гена, алкоголь в нем блуждает кругами
и мутные страсти его никому не ясны.

номер шестой — нина включает телевизор тем же жестом,
каким расстегивает молнию на юбке,
артист калягин, пробегая по слизистой оболочке ее глаза,
скатывается слезой по щеке,
она сидит на диване в позе человека в прохудившейся шляпке,
в кофточке поверх комбинации, со спущенной петлей на чулке.

ее лицо — любительская перерисовка по клеточкам
с неизвестного оригинала,
полустершиеся линии обведены химическим карандашом,
и мое воображение замирает, когда после передач
общесоюзного канала
она посреди комнаты раздевается и ложится
в постель намишом...

НОЧНОЙ СНЕГОПАД

в замерзшем воздухе твердеют облака
и невесомость, избегая веса,
срывается с высот в летейские луга —
смотри: вверху болтается оборванная леса.

тогда земля притягивает свет
и намагничивает этим светом окна,
встает моя жена, включает в спальне свет.
не топят. холодно. который час? четыре ровно.

ложится. гасит свет. во тьме под утро жидкой
фоточувствительное плавает пятно
и проявляет свет, влетающий в окно,
на негативе сна семейные пожитки.

как сквозь систему линз, пройдя сквозь толщу снов,
они сливаются в обуглившемся свете
в пейзаж взорвавшихся деревьев и кустов
под солнцем в полиэтиленовом пакете.

и в раскаленный свет запархивает моль,
и выпадает снег в закрытом помещении,
и, крик нагнав, крупницей станет боль,
и легкость возвратит при совмещении.

ВДОХНОВЕНИЕ

Он подает в тебе свой струнный голос,
на языке сыпучих миражей
тебе твою Он выдувает память,
в ушко игольное Он продевает космос,
всю эволюцию из клеточки дрожжей
Он повторит быстрее, чем бомба будет падать.

уходит Он и остается пепел,
из пепельниц напололам с бычками
закручиваться начинают вихри,
их в купол сердца ввинчивает ветер,
размешивая в темноте смычками,
и видимость распарывает выкрик.

а манит Он покоем или светом,
судьбу изображает снегопадом,
мытарства заменяет осязаньем
и, делая прозрачными предметы,
затепливает в них свои лампы,
и наделяет чувством и сознанием.

* * *

мы думали еще до своего рождения,
предусмотрительно расфасовали чувства,
но в реку времени вошли, и развалились
египетские пирамиды правды —
нельзя их строить из съестных припасов
и правду выводить из гастронома —
она ведь не наземное строенье,
она ведь изоморфна пустоте.
она есть только в чертежах и схемах,
и если завернуть ее в газеты,
то пятнами на ней проступит совесть
и заведутся в чертежах клопы.

предусмотрительно душа вошла в предметы,
вдохнув в них полноту и невесомость,
изъятую из глаз разрозненной толпы.

ДВА ОТРАЖЕНИЯ

1.
в процессе жизни гасятся детали,
и остаются в комнате потухшей
под койкой две щекастые гантели
и в зеркале мальчишеские уши,
и майка промокашечного цвета,
через которую просвечивают окна,
которые морщит и комкает от ветра,
который вырывается с шипеньем
из четырех конфорок газовой плиты.

2.
еще из-под двери, прикрытой плотно,
сквозит полоска света или пенья:
там ангелы поют, вдевая свет в иголку,
и там растут бумажные цветы.
в замочной скважине торчит оттуда ключ,
но видно облака в дверную щелку,
и эту дверь, ведущую на небо,
с той стороны обугливает свет.

3.
с той стороны не наступает ночь,
а с этой — пыльный воздух щиплет нёбо,
когда садишься, кожаное кресло
вдруг издает туберкулезный свист.
и если в комнату опять впадает время,
то кресло опрокинь и сам садись на весла,
и в кресле кожаном ты поплывешь навстречу,
вверх по теченью, рассекая пламя
настойной лампы в рое мошкары,
поставленной в неосвещенный вечер...

4.
сон расположен вдоль метрической шкалы,
он снится женщине, уснувшей за столом,
подставившей настольной лампе щеку,
над нею плавится стеклянный абажур,
сон каплет закипающим стеклом,

она во сне сбивается со счета
и просыпается. ей снится коридор,
ей снится офицер морского флота:
высокий лоб напоминает глобус
с ранением на тихом океане.
ей снится крепдешиновое платье
и столик в прибалтийском ресторане.

5.

потом ей снится собственное тело
в проекции, как корабельный корпус,
со схемой органов устроенных в примате,
опутанных системой капилляров
с расчетной мощностью в каких-то там ноль целых...
весь этот механизм, изъятый из футляров,
разложенный в гостиничной кровати,
сперва пульсирует, как водяная помпа,
а после курит в ситцевом халате,
испытывая чувство в форме ромба...

проекция

фрагмент души, разобранной на части,
среди болтов развинченной судьбы
валяется в траве, растущей у санчасти,
пригретый солнцем, сорванным с резьбы.

еще хранит футболка форму тела,
продавленного кедою корейской:
прошел футбол, оставив лужи мела,
и задышал озон кирзой армейской.

здесь чьи-то голоса еще звучат отдельно,
на тонких проводах прикручены к забору,
и каждая деталь отчетлива предельно,
попав в наклонный взгляд, утративший опору.

но весь пейзаж сложив в брезентовый мешок,
ты смотришь со спины на собственные уши:
на нежные хрящи, на вздыбленный пушок,
а на просвет они — рельеф девонской суши.

ты узнаешь себя при взгляде со спины,
ты узнаешь в своем лице чужие лица,
несешь из булочной батон чужой вины
и прежде, чем забыть, ты должен отразиться

в разбитом зеркале, в заплаканных глазах,
в какой-то детской заводной модели,
на разный лад в бесполом голосе,
запутаться пушинкой в волосах
и все глядеть в себя, и целить мимо цели.

и открывать себя, как перочинный нож,
жизнь складывать, как веер или ширму,
и зажигать свечу, входя в погасший дождь —
перегорели пробки, валяется крепеж
и ночь всосалась в спущенную шину.

(у радиоприемника)

что забывал язык, то вспоминала речь,
и пустоту сместив, до слуха доносила,
как коротковолновая пульсировала ночь,
и в ней взбухала мышечная сила.

и мышцу темноты с пунктирами огней,
которую к земле пришили электрички,
слух вдруг нащупывал и зависал над ней,
качаясь на волне эфирной переклички.

и не было границ, отодвигавших сон,
на метаязыке калякали светила,
и плыл по гребням волн космический ясон,
руки не отнимая от кормила.

ОСЕНЬ. НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ

в спинном мозгу засушенной травы
рефлексы замерли, как кадры киноленты,
и в каждой клетке скошенной травы
погасли фотоэлементы.

и не шумит трава машинным языком,
переходя с фортрана на алгол —
он так стелился здесь над озерцом,
что слышался один сплошной глагол.

потрескивало небо, как экран дисплея,
помехи рвали звезды с телестрок,
латинской буковкой зажглась кассиопея —
машинной памятью мерцающий мирок.

как датчики, подсвечивались избы,
и моцарт подбирал на эвм*
мелодии, объемные как линзы
для стереоскопических систем.

и вот метемпсихоз заснят на фотопленку,
и моцарт, отраженный в темноте
зрачками деревенского котенка,
пучком частиц летит в кромешной пустоте.

* ЭВМ — электронно-вычислительная машина.

АНАТОМИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ

кусты кровеносных сосудов
роняют последние листья,
в них ветер, влетая, теряет рассудок,
с них птицы, взлетая, вмерзают в созвездья.

в их гуще пульсирует сердце
с отростками губчатых трубок,
в них мечутся крови мохнатые тельца
и стенокардии обрубок.

а корни путей пищевода
уходят в белковую почву,
и звезды читают свободно
клинописную генную почву.

с земли подымается вздохом
сознания мыслящий пух,
и каждый, окликнутый Богом,
растит в одиночестве слух.

его подвигает строенье
того, что всем кажется духом,
на поиски внешнего зренья,
ведомого внутренним слухом.

ПРИПОМИНАНИЕ

асфальт испытывает боль,
и выпадает алкоголь
на алкогольные пейзажи,
где выключенный шум шагов
замерз до таянья снегов
и каждый след, как рана, зажил.

но совершенной формы боль
уже не причиняет боль,
а пересаженная боль,
прижившись, причиняет счастье.

летает в доме антресоль,
на ней бездельничает моль,
а мать берет аэрозоль
и душу моли рвет на части.

но вундеркинд — сердитый мальчик
на крашеном велосипеде —
воспитан в собственном соку;
трансляции футбольных матчей
приходит посмотреть к соседям,
болеет за «нефтчи» баку.

он учит «слово о полку...»,
включен настольный вентилятор,
паук бежит по потолку,
и день гудит, как трансформатор...

когда он яблоко догрыз,
ты помнишь, семечко упало?
не из него ли разрослись
антропоморфные начала?

и не выходит жизнь из строя,
хотя, казалось бы, заело
ее устройство заводное.
ее устройство заводное
уже морально устарело.
ее железные узлы...

учебный натюрморт

вживаясь в равнобедренный кувшин,
я вычитаю из него привычность:
примерив обтекаемость машин,
он сам перед собой разыгрывает личность.

а драпировке, обласкавшей стол,
линялой до расцветок географии,
был свойственен когда-то женский пол
с чертами буржуазной биографии.

во фруктах восковых их образ обнажен
до стереометрической фигуры,
и натюрморт сплошным пространством окружен
в трех измерениях, написанных с натуры.

но я, свой глазомер поставив на штатив,
ищу свободную от измерений точку,
изображаемым предметам возвратив
постигшую их свойства оболочку.

пространство распахнув, как форточку во двор,
перепроверив зрение на верность,
я завожу кувшин, как гоночный мотор,
я отрываю от него поверхность.

я в натюрморт ввожу прохладный куб двора,
где разговор двоих в их схемах — перемычка,
где в толще тишины пропорота дыра
и, чиркнув, вечность освещает спичка.

ПЛАЧУЩЕЕ ИЗВЯЯНИЕ

зеркальные шары снабженных зрением глаз —
их поворотники вращают на осях,
зрачки их крепятся на лучевидных спицах,
они свободно плавают в глазницах.

от них ведут двух кабелей жгуты,
чьи окончания зажаты в клеммах мозга.
мне объяснить осталось, как же ты
свой зрительный процесс преобразуешь в слезы.

ты поливаешь два растущих в кадке глаза
горючею водой родных морей и рек,
и от желанья жить в крови вскипает плазма
и зрение дает еще один побег.

на острие его, где набухает в почке
в природе содержащаяся власть,
дрожащая слеза застряла в мертвой точке
и порывается сорваться и упасть.

36

ты собираешь в сахарницу слезы,
ты накрываешь стол в расчете на двоих,
ты смотришь на часы, век не меняя позы,
и ложечкой помешиваешь их.

и вот идут часы, глаза впадают в реку,
в природе завершив земной круговорот,
смыкаясь, веко прикипает к веку,
и, обезвоживаясь, трескается рот.

в шкафу на вешалках без света вянут платья,
размякли на окне цветочные горшки,
зеркальные глаза в шкафу хранятся в вате,
под ними пролегли отечные мешки.

а у окна сидит разбитая скульптура
с рукой, подвешенной отдельно на шнуре,
торчит из каменных деревьев арматура
и зрение растет на пыльном пустыре.

ПОЕЗД

1.

растения растут, раскачивая воздух,
и гонят по стволам свой водянистый сок,
синюшные птенцы кричат от скуки в гнездах,
высовывая свой бумажный голосок.

состав, что под откос пустили партизаны,
сорвавшись с полотна и набирая вес,
бессмысленно скрипя и надорвав стоп-краны,
сминая заросли, вонзился в плотный лес.

как занавес за ним задернулись растенья,
распространяя сон вдоль насыпи и рва,
и вот состав укрыт тяжеловесной тенью,
и поползла к нему тревожная трава.

в расколотый котел, в утробу паровоза,
где от помятых труб еще струился пар,
вползла трава, подняв со дна анабиоза,
свой водянистый мозг, бесшумный как радар.

и, плесенью скользя, вдоль дымогарных трубок,
проникла в топку — уголь стыл, издавая свист,
и воздух, сжиженный его дыханьем грубым,
из топки подтекал — в нем плавал машинист.

он, падая, сгребал разрозненные части,
но вырос у него в гортани цепкий куст,
как сломанную вещь, он отшвырнул запястье,
и ртутным шариком оттуда выпал пульс.

помощник на спину был выброшен наружу,
и ветер шелестел листвой его бровей,
в низине глаз его зрочки расплылись в лужу,
полз, отражаясь в них, скрипучий муравей.

ну а трава уже бежала вдоль вагонов,
по ней шли волны, как в аэродинамической трубе,
в вагонах дул сквозняк отчаливших перронов
и пробегала рябь по зеркалам купе.

2.

в том тамбуре, где мы с тобою зажимались,
запекся в воздухе помадный оттиск губ,
когда-то мы с тобой вступили здесь в катализ,
теперь здесь тишина образовала куб.

мы для того сошлись, чтоб после расставанья
друг в друге не узнать размытые черты,
но где нам было знать, что знаком препинанья
в дальнейшем станут нам две скобки пустоты.

похоже, нас с тобой, как воду, расплескало
в прошедшем времени, в реликтовых лесах,
но память все еще способна вполнакала
поддерживать во мне продолговатый страх.

и я теперь ловлю, как муху, стук стона,
прозрачную ладонь толкая, как снаряд,
я больше не хочу, чтоб вдоль окон вагона
скользил твой слепнувший, нас переживший взгляд.

38

ведь легче, умерев, бесцельно, но дословно
пересказать себя на языке травы,
и все ее слова бесшумно и объемно
соединятся в речь, затягивая швы.

но стоит отряхнуть остатки осязанья,
как станет эта речь понятной и немой,
доступная всему, ты разожмешь сознание,
оно вспорхнет с руки и полетит домой.

потом, когда трава сюда вползет сквозь щели,
как в вазе, прорастет сквозь битый унитаз,
мне хочется, чтоб мы с тобою подсмотрели,
как все займет трава, но не застанет нас.

и скроются в траве останки эшелона,
и в шелесте травы появится надрыв,
и будет сон травы стелиться повагонно
и дерево расти, красивое как взрыв.

3.

так думала трава посредством разрастанья,
и мысль ее была похожа на траву,
влюбленную в предмет и с первого касанья
держашую его в сознании на плаву.

и в глубине души трава была довольна,
что, в сущности, она является травой,
ведь все, что не трава, принадлежит невольно
периферии жизни мировой.

когда-то в глади луж взглядевшись в отраженья,
трава, стремясь понять, что есть она сама,
прошла стихийный путь разумного растенья
от фотосинтеза до глубины ума.

и если б на траве тогда остановиться,
чтоб эволюция закончилась травой,
то шла бы жизнь без риска прекратиться,
себя доверив тяге паровой.

вот почему с волнением законным,
поняв бесплодность чуждых ей идей,
трава спешила к взорванным вагонам,
где по траве рассыпало людей.

и, встав на цыпочки, смотрелась с интересом
в болотца скользкие лишенных зренья глаз:
в них острия травы траве казались лесом
и эволюция, казалось, удалась.

ОПОЗНАНИЕ I

заговор слов, тайное общество знаков,
две запятые строят абзацы в каре,
мхом зарастает чернильница, «оптима»* — дробот казаков,
синтаксис смят, темная ночь в букваре.

стол опрокинут, книги страницами машут,
стаей белых ворон обсыпают ветвистый бульвар,
хнычет военный оркестрик, строфы гарцуют на марше,
грезит москва, широкий надев боливар.

клятвы ночные, от вздохов влажнеет стекло,
шепото-шелест струится воздушным теченьем,
в фартук кухонный, в карманы время до капли стекло,
в вазе изломано в крошки сухое печенье.

окна немые, бракоразводная тишь
и бесприютные встречи домов с фонарями,
не перепутаешь, не озаглавишь «париж»,
и не заездишь, и не залижешь морями.

40

ухо кустарное к грубой привыкло работе,
годы позднятся, дни — как об стену горох,
вертит вселенную на холостом обороте,
и незамужние звезды густеют из млека в творог.

пальцем уснувшим заложена в книге страница,
беглые призраки плоть обретают у губ,
должен был с кем-нибудь кровным родством породниться,
вены пустые гудели, как чрево у труб.

вымер до древних цветов, до меловых отпечатков,
гены свои изучал по каменистым следам,
только тепло от руки сохранила перчатка,
не подниму ее и никому не отдам.

* Марка пишущей машинки.

ШЕСТИКРЫЛ

когда мне голубь на руку садится
и под землей шевелятся корни,
и с век срывается падучая ресница,
я превращаюсь из творца в творенье.

и раковины струнное молчанье,
и угли звездные, шипящие в воде,
не в рукотворном фебовом колчане —
у Саваофа в теплой бороде.

дух земноводный обретает слух,
и созреванье переходит в зренье,
и стадо половецкое пастух
через шоссе ведет сквозь безвременье.

и выше музыки проникновенье зла,
копыта мнут несобранные травы,
не ты ли нас в автобусе везла
и бросила одних у переправы?

и, не состарившись, окончил век трамвай,
в преклонном детстве вымрут самолеты,
но сколько календарь ни обрывай,
в нем наперед не вычтешь ничего ты.

есть мужество неразвормой веры,
пять пальцев от земли до неба растопырь,
пространство никогда не знало чувство меры,
вовек не вышагать избыточную ширь.

(7-16)

есть четные слова в напутанных молитвах,
и колокольцы бряцают в столбцах.
есть треньканье, таящееся в бритвах,
опасное струне о двух тугих концах.

и расплетая пряжу паука,
кузнечиков и мух усопших вынимая,
приходишь к выводу, что чья-то есть рука
в том, как устроена мелодия немая.

шутя со словом, обронили вещь,
играя в городки, сложили плаху,
тех, кто излился в огненную пещь,
земля взяла к себе под белую рубаху.

и четных слов нарушены приметы,
звонят в столбцах исподтишка звоночки —
из единиц длины скончался дряхлый метр,
стал единицей слова позвоночник.

АВТОПОРТРЕТ

два глаза раздавил — и расплылись озера,
и даже рябь на них не личного свойства,
лицо с вельветовой улыбкою позера,
в руке медалька медного геройства.

я весь не столько, сколько мой рассудок,
я не целее клеенной посуды,
заложено закладкой время суток,
когда себя я получаю в ссуду.

пусть в венах у меня течет томат,
я совершу положенное чудо:
я гривенником брошусь в разменный автомат
и пятаками выпадю оттуда.

НИНА

москва царапалась в окно
и по-собачьи подвывала,
и сумерек речное дно
дышало сыростью подвала.
стекались вялые гражданки
из отработанных контор —
сети торговой прихожанки,
чей день расчесан на пробор.
в проем окна вписав лицо,
я видел: ветром целовало
виски бульварное кольцо
тому, кого окольцевало.
и я осмысливал предлинно
ее — живущей на земле,
и стираное имя «нина»
чертил мизинцем на стекле.

44

несла расстрелянные губы,
шла в зябком вежливом пальто,
так ходит время, стиснув зубы,
когда ты сам себе никто.
ее недоболевший взгляд
лечили умные ресницы,
и кисти рук на птичий лад
взлетали целью для убийцы.

ларцы двух шатких флигелей,
двора бугристые ладони,
клок неба к вечеру белей,
пространство уже и бездонней.
и неказисты, как подстрочник,
стена во двор, запах дверной,
отвесный рыбий позвоночник
пожарной лестницы сварной.
мгновенно вспыхнул и ослеп,
ступени выставив коряво,
впустивший нину тухлый склеп.
второй этаж. квартира справа.

СЕЛЬСКИЙ ВИД

читает реку солнце по слогам
и ежесловно набирает вес,
послушен разговорчивым лугам
неграмотный офонаревший лес.

и с косогора легче, чем с трибун,
произнестись и побежать, как речь,
чтоб села не накликали типун,
несамодельной правдой не перечь.

когда бы воздух в гласных не погряз,
не пузырился б, как рукав втачной,
и памятливы избы коровий глаз,
и легковерен дым трубы печной...

ЛУННАЯ НОЧЬ

деревня наяву, и тридевять земель,
и ночь, растущая на нашем огороде,
и крыша дома, севшая на мель
в несудоходном небосводе.

затешила луна у тучи фитилек:
плывет свеча и шарит в окоеме,
и звездный свет отсюда недалек —
весь млечный путь в дверном проеме.

и лижет мыльный сон надзвездная река,
и в воду погружается обмылок,
в ней отражается вся плешь материка,
весь евразийский жреческий затылок.

того, кто покачнет гигантские весы
и чашу тишины заденет с непривычки,
коммуникабельно поругивают псы,
когда проходит он с последней электрички.

любовник дачный, свадебный бунтарь,
придя к неразбудившейся царевне,
в ладонях греет чуть живой янтарь
светящейся ночной деревни.

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

село в две строки вдоль дороги
у жидкой молочной реки.
страдательность в русском залоге —
действительность всякой строки.

крестьянскую письменность пашен
под выменем дойных небес
задушит в объятиях башен
бетонный безъягодный лес.

тиранит поля электричка,
круша алфавиты коров,
ломается чуткая спичка
и сыпятся штабели дров.

зарой, городской грамотей,
учтливое чтиво грамматик,
по грудь в луговом аромате
ходи и ногами потей.

пейзаж первобытного мяса,
костистой земли натюрморт
адепту ученья о классах
достался ни жив и ни мертв.

пахавшее слово окраин,
забитое в глотку назад,
союзники авель и каин
несут в городской зоосад.

(пауки)

не доверяют звуку пауки
и бережно несут хрусталик глаза,
когда вразвалку, словно моряки,
пересекают крышку унитаза.

ПИВНАЯ ПАЛАТКА

у фетровой шляпы зашито три карты в подкладку,
стучат о прилавок фанерные воблы в ермолках,
тасует колоду татарка, владея палаткой,
у козыря с кружкой рука в романтических наколках.

а транспорт гудит в городском вечереющем горне,
в упадочной музыке очередь ходит степенно,
вот жердочка в пиво пустила усатые корни,
глядят пузырьки и уже собираются в пену.

уже собираются в пену ефрейторы спичей,
клюют подмастерья премудрые зерна застолья,
у этой науки с ее инфантильностью птичьей
двубортная память местами откушена молью.

и, взглядом окинув послушное ей поголовье,
поправив очки, у которых болтаются дужки,
к химической чистке покуда поспеют сословья,
татарка наполнит всей братии снова по кружке.

я пил это пиво, прилежность пихая в карманы,
в стилижные узкие шестидесятые годы,
московские птички тогда подались в меломаны
и гадили с шиком на все «МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».

ДАЧНЫЕ РАДОСТИ

я забиваю досками дыру в потолке туалета,
через которую в него залетают птицы и облака,
и вижу, как треплется на ветру уголки целлофанового лета
и набирает скорость взлетающая река.

я стою ногами на фаянсовом белоснежном ухе унитаза
в стоптанных туфлях с налипшей на подошвы глиной и травой,
а вдали, посреди пейзажа, поставлено небо, как ваза,
самолет в ней летает, как муха, и звук издает горловой.

и, забыв, что разорван жизнью на две неравные части,
я легко отказываюсь от выстраданной — второй,
и испытываю глупое созерцательное счастье,
от которого не излечивается разве что геморрой.

ОБЛЕЗЛАЯ ЭЛЕГИЯ

с таким соблазном ест подтаявшее ухо,
которое ему доверила девица,
второй в роду наследный внук главбуха,
что стало невтерпеж скамейке помочиться.

слоновье стадо побросало ноги,
взлетая, как воздушные шары,
тогда бульвар стволами приспособил
такие бестолковые дары.
и где теперь слоновье стадо носит?
вот уж семнадцать дней как наступила осень.

когда б деревьями вы были по рождению,
в вас перелетных не было б брожений,
и с бунимовичем абрамовичем женой
мы в ваших кронах не искали б вшей.

своих имен не знают городские травы,
я сам на службе нумерую облака,
жду посвящения в домоуправы,
снимаю угол в трущобах кулака.

в сезон, когда газеты от стендов отлипают,
пытливым женщинам приходит тяжесть в теле
и передвижники рождаются тогда,
чтоб написать пейзаж «СЛОНЫ НЕ ПРИЛЕТЕЛИ».

ОПОЗНАНИЕ II

не болеется уху от слов не сошедших с ума,
и уставился глаз в телескоп на родную природу,
и размокшей газетой лежит на асфальте зима
и не принадлежит за ненужностью даже народу.

не заведует миром создавший его Формалист,
из высоких материй кроют обувные коробки,
по форматному небу разостланный ватманский лист,
впившись зубом единственным, держат стандартные кнопки.

из игрушечных кубиков строят земные шары,
из бетонных конструкций возводят жилые портфели,
с канцелярским пижонством бумагами пахнут дворы,
ждут в корзинах для мусора в недрах конторских метели.

в продуваемой временем комнате ждет тишина,
и в домашниках женских крадутся вдоль стен уговоры,
и в бутылочных окнах выходит на сцену жена,
задвигая поспешно линиялые нервные шторы.

полым деревом молча растет под землю метро,
вырывается ветер, в телах высекая пустоты,
выстужается грудь, превращаясь в простое ведро,
унижает и душит веревочный приступ икоты.

и не дышится воздух с расплывшимся жирным пятном,
вид страстного бульвара залеплен сырковой массой,
надо до перерыва на трубной зайти в гастроном
и купить полкило откровенно убитого мяса.

весь обысканный холодом неузнаваемый мир,
расположенный строго среди засекреченных пляжей,
всем своим существом не смирившихся с жизнью квартир
жив в бумагу завернутой бьющейся плотью говяжьей.

ПОСТОРОННИЕ МЫСЛИ

эти люди — большие растения,
осознавшие собственный рост,
только рост, только распространенье
с заселеньем жилплощади звезд.

а трава — в хлорофилловом хламе,
вся в себе и уходит в себя,
так и ходит босыми корнями
по пространствам, где свищет судьба.

и течет в ее сухоньких жилах
леденящая душу вода —
ни согреть, ни согреться не в силах
и течет неизвестно куда.

жизнь сперва началась с прозябанья,
с одноклеточной формы души,
прилагая большие старанья
в галактической нашей глуши.

если вспомнить, как все начиналось,
как смеркалось сознание в полях,
как желанием жить начинялось,
как взрывчаткой, внушающей страх.

и безмолвье раздвинулось разом,
шебурша по полям и лугам,
и травы собирательный разум
сам припомнил себя по слогам.

в мешковатых просторах на вырост,
в этой жизни с чужого плеча
разве вспомнишь, с чего же ты вырос,
сам придумал себя сгоряча.

в этой жизни, идущей вполсилы,
жизнь и смерть протекают с ленцой,
солнце в анабиозе остыло
и подернулось легкой пыльцой.

разве может живое созданье
так суметь себя пересмотреть

и суметь оправдать мирозданье,
полюбив неизбежную смерть,
любоваться упорством процесса,
презирая его результат,
быть душою осеннего леса
без особых душевных затрат.

МУХА

все нитяное туловище мухи
нанизано на нервную систему
с моточком мышц, навораченных на брюхе,
и на подвесках лап поставлено на стену.

она несет свои простые мысли
и, может быть, свои большие чувства
так, если бы ее сомненья грызли
о смысле жизни, сложной и невкусной.

забравшись к мухе в ворсовые поры,
на ней живет микроб дизентерии,
он сам с собой ведет подолгу споры
о мерах пищевой санитарии.

а мы живем с тобою по соседству
от нежной мухи, мудрого микроба,
но как-то так нас приучили с детства,
что мы умней и сделаны особо.

и как бы ни была ты грандиозна,
почти трансцендентальна и прекрасна,
на эту муху смотришь ты нервозно,
хотя она нисколько не опасна.

и ты берешь вчерашнюю газету
с трухою освещенных в ней событий,
и убиваешь ею муху эту,
лишив ее предчувствий и наитий.

и сразу в комнату ворвался скорый поезд,
на стыке рельсов грохоча железно...
а можно было жить, не беспокоясь,
и жить себе легко и бесполезно.

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ИЛИ ПОЧТИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

у заспанных полей однообразный вид,
вид несговорчивый у сумрачного леса,
на лицах деревень ни тени интереса
к тому, что с неба рванного свозит.

и ни одной вокруг подогнанной детали.
взял на буксир пейзаж и за собой повез
автобус рейсовый, накручивая дали
вращеньем косолапеньких колес.

и в путешествии почти сентиментальном
попутчик мой — радищев — видит прок:
он, сидя у окна, кемарит в кресле спальном,
на тыщи верст — одна беспомощность дорог.

каким бы кто из нас ни следовал маршрутом,
одна и та же ширь на сотню лет вперед,
как будто оком нам сброшен с парашютом,
как будто все пути в стране ведут в народ.

в дорогу взяв с собой спиртного полбутылки,
ты нежно говоришь радищеву: «отпей!»
он сильно постарел, он сдал с илимской ссылки
и стал как будто чуточку глупей.

он большей частью спит, поджав худые ноги,
а мимо за окном трусцой бежит страна,
и хоть посмертно он приговорен к дороге,
он плохо видит и уже не смотрит на

спряжения равнин, приученных к терпенью,
растительность равнин, растущую молчком —
она растет, ничье не выражая мнение,
ее не пристегнешь себе на грудь значком.

тоталитарно небо в захолустье,
оно внушает преданность и страх,
и жизнь при нем, как при глубоком чувстве,
приобретает подлинный размах.

а подлинность похожа на поселок,
где в центре — почта, станция, продмаг,
где каждый в очереди у ларька — филолог,
и ветер мысли дует здесь в умах.

ты по незнанию мог принять за пьянство
всю эту ширь, щемящую в груди,
помноженность пространства на пространство
при той же протяженности пути.

(ВИД ИЗ ОКНА)

деревья, как голые мысли,
расставлены в черством снегу,
они, в обывательском смысле,
у собственной жизни в долгу.

вороны на их ответвления
салятся, как доводы в том,
что мы, постигая явления,
от них несвободны потом...

СТРАСТИ ПО ЭВКЛИДУ

приземистый простор пронзительных равнин,
прямолинейность средств, прокол воображений,
кто сочинил тебя из односложных длин —
подчеркивал тобой бесплодность заблуждений.

здесь потому творец прибегнул к простоте,
что в творчестве ему прискучила прилежность,
и он нагромоздил в простынной чистоте
 всю эту протяженность, как погрешность.

здесь всякому легко дается правота,
поскольку сводит он ее к прямой природе,
здесь приблизительность, как оспа, привита
и мнение растет на каждом огороде.

здесь нет проблем с судьбой, напаянной на быт,
и повседневность здесь приведена в привычность,
ничто здесь не, никто здесь не забыт;
ничто, никто: в неточности — типичность.

чтоб больше не любить лесов, полей и рек,
дай отравить себя сентиментальной фальши,
ты можешь даже плен задумать, как побег,
жизнь поторапливать, не досмотрев, что дальше.

из лени в автобиографию вписать
избыточные, но полезные мытарства,
ты можешь сам себя восторженно кромсать
и принимать свои увечья за лекарство.

но осмотришь кругом. ты едешь в электричке,
ползущей по кривой на плоскости равнин,
теперь освободись от медленной привычки
подсчитывать длину прожитых нами длин.

пусть все идет себе, как кадры в фильмоскопе,
и только подписи ты успевай читать.
на сгибе азия припаяна к европе,
чему быть дальше — можно угадать.

АЛКОГОЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ему легко прикинуться толпой
и спрятаться под шкуркой человечьей,
и как подпольщику, ушедшему в запой,
из клетки выпустить комок пернатой речи.

и если он уже безумный агрегат
по перекачке слов в продукт сплошного бреда,
то в беспредельности, блуждая наугад,
душа его чужим дыханием согрета.

кто он — не разглядеть. видны его носки,
необходимые как монумент победы,
в которых он уснул в кондиции доски,
не гнушейся, не ведающей, где ты.

и времена прошли, перемешался код
длиннящей дээнка* — ее, стуча, соседи
сложили в домино, но спутали, чей ход,
а вспомнили, растаяв на рассвете.

и вот, в бессвязности начав искать упор,
он обнаружил стул среди развалин рима.
он здесь уже бывал: водопровод, разор,
а вот его штаны висят на спинке зримо.

он вляпался опять уже в который раз,
уже в который век все начинать сначала,
то мао, то батый, Бог знает, кто сейчас,
куда ни сунься — правит кто попало.

и, выходя с трудом на правильный настрой,
он совершил рывок по направлению к брюкам —
в какой угодно век, в какой угодно строй
жить без штанов в носках нельзя по всем наукам.

всего себя собрав на счет, как метроном,
и душу возвратив из запредельных странствий,
он стал прикидывать, где в риме гастроном,
нетвердо ориентируясь в пространстве.

* ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота.

и, хрупкий как сосуд, он вышел на бульвар.
я видел, как он шел, слегка сутуля плечи,
в грудную клетку пряча Божий дар —
готовый выпорхнуть комок пернатой речи.

В ЦПКиО

здесь пузырится воздух повторений
и время, вырываясь на ходу,
воздушными шарами настроений
взмывает вверх, в пустую высоту.

здесь повторяются сакральные обиды —
коленки сбитые, вошедшие в судьбу,
как сбои в генах, множащие виды,
на безмятежность наложив табу.

и с пыльных антресолей подсознания
ты достаешь овеществленный шок —
причину неустройства мироздания —
шар лопнувший и сломанный флажок.

и частной собственностью, классовым подходом
не успокоить, не предусмотреть
ребенка, нежно слепого кодом,
боящегося тихо умереть

62

покуда жизнь бессмысленно случайна
и все вокруг прозрачно на просвет,
и молишься пока кому-то тайно,
кому-то смутному, кого на свете нет.

все неразгаданное близко и понятно,
и до того, как что-то объяснить,
ты инстинктивно тянешься обратно
в доисчисление, в дожеланье жить.

так неужели ты один оставлен
в забытой ясности на все найти ответ,
который весь, как в темноте, направлен,
а на свету — косноязычный бред.

но чем необъяснимее, тем резче
необязательность разжевыванья слов,
ведь репродукторы, плюя дефектом речи,
кого-то ободряют со столбов.

и ты дрейфуешь в праздничном бульоне,
и за тебя, что нужно, объяснят
спортсмены в марширующей колонне,
раскаты музыки, дружина октябрят.

БАНАЛЬНЫЕ ВЕЩИ

близорукие годы стоят с виноватой улыбкой
в мешковатом плаще за зеркальным ободранным шкафом:
на отца не похожи — какой-то комплекции хлипкой,
и слегка оплывают и плавятся с медленным кайфом.

или выйдешь во двор с параличного черного хода —
есть еще и такое почти безобидное средство —
только ноги промочишь, пусть даже сухая погода,
в подсыхающих лужах времен алиментного детства.

кто вас так напугал, кто вас вытряс из фотоальбомов,
довоенные мальчишки, в угол забитые бытом,
знатоки изречений и даже самбистских приемов,
с выражением лиц, совпадающим с чем-то забытым.

ваши длинные тени на лунной поверхности страха —
тени прежде стоявших на голой земле монументов,
вас знобит от любого волнения в области паха,
от лежащих в нагрудных карманах своих документов.

проживаешь в квартире, а рядом глухие отсеки
остановленной жизни, уже не способной продлиться,
кто-то смотрит оттуда, как смотрят с портретов генсеки,
и еще мельтешит в физкультурных разводах столица.

или встретишь себя на замызанной лестничной клетке:
не найдешь, что сказать, и не выйдет с собой разговора,
только смотришь просяще на этого в ношеной кепке,
мол, еще постоим, ну, чего разбежаться так скоро.

незаметные вещи ведут свою жизнь, как улитки:
вот баллончик губами обласканной яркой помады,
два английских ключа и билет — разве это улики?
это так ненарочно и просит позорно пощады.

эта мелкая жизнь вымогает себе упрощенье,
горстку сахарных слез намывая из детских обманов,
и как после дождя, получив для себя отпушенье,
выползает наружу из сумочек или карманов.

так зачем их щадить? разве так поступает убийца?
и куда уходить, а уйдя, для чего возвращаться?
что здесь можно найти или в чем захотеть убедиться?
в том, что дети растут и земля продолжает вращаться...

ДЕЖУРНАЯ ВЕЧНОСТЬ

настольная лампа отгоняет ночное время
и выхватывает маленькую вечность на письменном столе —
так далеко отсюда мир из программы «время»,
если вообще возможен где-нибудь на земле.

по проводам гоняя взвинченное воображение,
лампа еще посылает свой осмысленный свет,
но где-то в устройстве патрона уже появилось жжение,
пахнет горелой пластмассой, и что-то гудит в ответ.

если недолгую вечность, удерживаемую лампой,
выключить и по течению времени отпустить —
время затопит время вялотекущей лавой
и потекут рельефы одна за одной пустынь.

но небольшая реальность, конусом света стоящая,
поддерживает иллюзию в вогнутой темноте —
пока горит эта лампа, не кончится настоящее,
а прошлое или будущее отсюда черт знает где.

64

они половодьем ночи откатываемые камешки,
и можно вплоть до бессмертия по капле ее цедить
и обитать нескончаемо на освещенном краешке,
даже на сердцебиение прикрикивая: «цыц!»

но что-то приснится женщине, в соседней комнате спящей,
укутанной в одеяло, как в раковину моллюск,
если раскрыть, увидишь ее неподдельно спящей
и никогда не слышавшей, как я в темноте молюсь.

не придавая значения ее первобытному страху,
можно свое сознание, не переставая, длить,
только бы ахиллесу не перешагнуть черепаху
и пригоршню вечности неосторожно пролить.

здесь обмелела история и времена обессилили,
здесь только в контуре света дрейфует ночная пыль —
события и народы не стоят, чтоб их вносили
в листочки с бисерным почерком, выдерживающим стиль.

здесь где-то тоннель вертикальный, ведущий ко входу в Бога,
откуда сквозит невнятицей неопределимых чувств.
пока горит эта лампа и мы бессмертны немного,
можно пытаться вызубрить ночь эту наизусть.

СТИХИ О СВОБОДЕ
(ОПЫТ РЕАЛИЗМА)

по щиколотку лжи
ржавеет время года
дожди ему должны
должна ему природа

он в рыхлом пиджаке
идет себе навстречу
на метаязыке
себе противореча

уже вошел в пике
черпнул ботинком лужу
слоняясь при кульке
весь вывернут наружу

он видит вдалеке
неявное знаменье
стекляшку в закутке
людское запустенье

когда легко принять
весь этот мир за лажу
как триста грамм принять
или пол-литра даже

и переходишь вброд
в себе такую смуту
что вынести народ
нет сил ни на минуту

невольню ищешь вход
в душе надеясь выход
портвейн пуская в ход
как совершая выпад

с бутылкой из кулька
за столиком в стекляшке
перехватив слегка
он счастлив без натяжки

откинув вдаль клеша
от теплоты подкожной...
над ним его душа
витаает осторожно

ей наплевать что здесь
биточки пахнут кисло
она благая весть
исполненная смысла

порхнув за кем-то в дверь
в промозглые пустоты
она парит теперь
и пишет развороты

в спряженьях высоты
с их птичьего полета
открылись ей зады
жилых домов пехота

весь кровеносный быт
непрочности походной
простуженный на вид
и Богу неугодный

она летит над ним
с мучительной любовью
заезженной как гимн
покорности сыновней

а мне она видна
трепещущей отметкой
из моего окна
в пространстве ставшем клеткой

я знаю это знак
что он достиг нирваны
что в ней его верняк
прописанный как ванны

что как блатной Христос
как дзэн-буддист и хиппи
живущий на износ
в одном рекламном клипе

приняв его всерьез
за чистое страданье
пришел как на допрос
с собою на свиданье
как подобает жить
моральному уроду
чтобы потом как пить
дать вляпаться в свободу
которую зашхерь
или залей за ворот
или рвани за дверь
и выйдешь в тот же город
где сколько ни крути
и ни чини оттяжки
я б мог его найти
сидящим в той стекляшке
но я не перестал
условность путать с жизнью
не выхожу в астрал
не удостоен шизью
я чувствую себя
прилежным экспонатом
такого ждет сопя
патологоанатом
и потому как хлыст
кружу один в квартире
размером в писчий лист
и бацаю на лире
пока от хрипоты
не изойдет бумага
до высшей немоты
до полного напряжения
ведь черная дыра
зияющего текста
тесней чем кобура
пустей пустого места

и где нам здесь вдвоем
расположить закуску
не впишемся в объем
и загремим в кутузку

уж лучше переждем
чем мне менять замашки
и под таким дождем
тащиться к той стекляшке

вся эта жизнь вода
и я смотрю как в воду
мы встретимся когда
как в гроб сойдем в свободу

и сядем за столом
в отдельном кабинете
склоняя все в ином
потустороннем свете

(ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ТРАВЫ)

...Бог и трава понимают друг друга,
это им все равно, как занять или выпить,
но трава шевельнется волною испуга
и начнет растопырено листьями рыпать.
это Бог припозднился с какого-то света
и теперь возвращается полный предчувствий,
там Его принимают за мелкого шкета
по причине Его слишком редких присутствий.
ну, а здесь никого ни учить, ни стыдиться,
ни стоять на миру, как нашкодивший школьник,
разве прямо с земли вдруг шарахнется птица,
да и та нелюдимая, аки раскольник.
или встретишь на речке апостола павла
и пройдешь потихоньку на цыпочках мимо —
это были когда-то гоненья и травля,
а теперь не суди и не будешь судимым.
а теперь вечный кайф всем безвинно убитым
со смешком вспоминать, как их страшно пытали,
для того, кто прошел унижение бытом,
это входит в привычные рамки морали.
так заныкано крепко последнее слово
и еще так нагадят — еще выше крыши,
потому что по кайфу и сказано клево:
нет правды на земле, но правды нет и выше.
ну, а Он потихоньку на цыпочках мимо,
Сам с Собою немым говорком говорящий,
босичком по траве мимо третьего рима,
что вдали — как макет, куполками горящий.
и траву вслед за Ним не скатают, как коврик,
чем она и дерзит, не взирая на лица,
потому что ее многоразовый подвиг —
каждый год у Него под ногами стелиться.
потому-то и нету послушней народа,
потому-то и нету страны поднебесней,
потому-то в отечестве нету пророка,
что нет твари, чья вера травы бессловесней...

(первое стихотворение)

Он еще повернет и вернется
постоит и отчалит опять
никогда там где тонко не рвется
так что нечего тут колупать

ничего что замазана грязью
панорама столичных заплат
ты поймешь по ее безобразию
то как мыслил ее психопат

разве грянет второе пришествие
среди прибранных улиц и стен
ты поймешь по ее сумасшествию
кто актер в этой лучшей из сцен

в наши церкви умытые дождичком
Он войдет налегке невредим
ни одни не пораненный гвоздичком
трезв с утра ну а там поглядим

ну а там что потом по сценарию
ментовская дурдом или рай
что Ему в Его жизни ни впарю я
все без разницы сам выбирай

это все так заезжено начерно
и для прочих других все равно
что я мог бы продолжить и матерно
но зачем мне такое кино

так что не паникуйте товарищи
ни один не раздет не босой
чувством классовым в сердце ту тварь ища
стой себе за своей колбасой

нам ведь дорог ход мыслей реликтовый
справедливости облик простой
за отсутствием ставший религией
как народ он ведь тоже простой

я ведь тоже не против погромов
и не против парадов и дат

под рукой у обкомов-горкомов
я как все и угрюм и поддат
и Его с Его нравственной проповедью
как и вы я давно проморгал
понукаем отеческой отповедью
ощущая всеобщий накал

МОНОЛОГ ПАТРИОТА

мы когда-то чего-нибудь сможем
мы утремся и дальше пойдем
мы телегу империи смажем
двинем шибче в кромешный потём

видишь сумерки нашей свободы
не жлобись все равно пропадать
пусть отколются где-то народы
мы ж хранимые ею уроды
перекурим и сможем поддать

есть насильственность в русской природе
я не спорю — я тихо блюю
по такой по собачьей погоде
на идейность и я не клюю

но и запад не лучше — а круче
вместо Бога щенячий комфорт
все равно что от жизни ползучей
попытаться слинять на курорт

так и так выйдет смертная скука
рай земной но с амбарную клеть
Бога нет доказала наука
там и там мол тебе околеть

только здесь хоть грязнее и злее
да и сам матюгами оброс
но однажды за мной в бакалее
занял очередь чистый Христос

ну а значит должно быть так надо
через скотство земное постичь
что в подножье Небесного Града
и положена вся эта дичь

вот когда оно все прояснится
станет каждый как райская тварь
только надо душой потесниться
перемучиться перекреститься
ведь судьба — это только букварь

(ПАРИЖ-МОСКВА)

когда глядишь глазами вогнутыми
на неразборчивый пейзаж
то кажутся почти чокнутыми
ландшафты сданные в багаж
и равнодушные растения
больные словом «недород»
и с раздраженьем неврастеника
зима жующая народ
патриотизм невразумительный
прости меня но ты дуришь
я под твоей опекой бдительной
качусь в москву послав париж
ты ж над страной косящей в пропись
разбрызган как аэрозоль
оставь мою в покое совесть
она уже почти мозоль

ПАРИЖ-МОСКВА ПРОЕЗДОМ

ты помнишь, сережа, пейзажи парижчины?
а видишь, сережа, пейзажи смоленщины:
откуда по ним расселились попришины
и так некрасиво одетые женщины?

стоит экскаватор на станции проклятой
и роет зачем-то замученный грунт,
балдеет зима, и уж если не рохла ты,
то примешь полбанки под звуки «пер гюнт»:

динамик погнал со столба станционного.
но если бы здесь проживала сольвейг,
то с нею на пару борща порционного
почел бы за счастье в столовке, как шейх.

я зажил бы с ней в том расшатанном домике,
ложась по ночам на пружинный матрас,
лаская ее подувядшие холмики,
поскольку в провинции вянут на раз.

ну, местные, может быть, в рожу мне съездили,
попортили б быстро мой импортный френч.
а на фиг, сергей, мы во францию съездили?
не стали счастливей, не спикаем френч.

а здесь бы я просто сидел на завалинке
и долго смотрел в подуставшую даль,
такой неказистый, поникший и маленький,
какой я и есть. впрочем, это едва ль:

я ей бы купил пару фирменных шмоток,
одел бы детишек и вывез в москву.
тогда почему местной жизни ошметок
прогнал этот бред по загибам в мозгу?

откуда вина перед вечной провинцией,
как будто я что-то украл или жид?
и долго ли совесть, язвимаая фикцией,
может трепетать и еще дребезжит?

и можно ли всех осчастливить имуществом:
квартира в две клетки, видюшник, ковер?

а нет, так зачем своим сердцем скребушимся
вibriровать, зря озирая простор?

что можно исправить в таком мироздании,
где только и ждешь, что за чей-нибудь счет.
Господь, как разведчик, ушел на задание,
а здесь без него ни один не сечет.

ВЕЧНЫЙ ЖИД

за ним тянется шлейф одиночества
в коммуналке среди множества душ
где он шаркает шагом высочества
отправляясь в галюон или душ

и как метеорит в атмосфере
протаранивший черный тоннель
его жизнь уменьшаясь в размере
превратилась уже в самоцель

сквозь тоннель его жизни сгоревшей
дует в спину промозглой судьбой
но от жизни своей потерпевший
выжил он хоть и жил на убой

и уже ничего не поправить
и одна только выгода в том
что нельзя понукать или править
одиночкой не ставшей гуртом

и встречая его в коридоре
обдает меня тусклый мотив
как о пламенном пелось моторе
как он жил свою жизнь закусив

а теперь как подачку на старость
просыпаясь ни свет ни заря
пережить напоследок осталось
что он выжил напрасно и зря

что гораздо осмысленней сгинуть
если жил все равно на убой
это в общем не сложно прикинуть
Царство Божье берется гурьбой

(ПОДРАЖАНИЕ ДЕРЖАВИНУ)

никаких комментариев к истине,
только так, кое-как, на глазок.
может быть, недостаточно искренне,
все равно что носить образок.

это время такое сыпучее
понабилось во все потроха,
помереть не представилось случая,
но и жизнь не выходит пока.

и на этой предельной дистанции
никаких промежуточных вех,
тут иного порядка субстанции,
здесь две меры: прошение и грех.

и по этим скучным ориентирам
совокупность оттенков и форм
обозначится бледным пунктиром —
отраженьем всех мыслимых норм.

ну а то, что само разожметя
и метнется в прощенную высь,
неопознанным в нас приживется,
по-мышинному будет скрестись...

(НИНЕ ИСКРЕНКО)

как перчатку, стяни с себя тело
и пройдишь перед всеми раздетой душой,
ну, чего убиваться, что бюст небольшой,
ведь сейчас ты его не надела.

встреча с Богом несложное дело,
как всем классом сходить на рентген, в худшем случае —
в одиночестве в гинекологический кабинет,
ведь, в конечном итоге, не важно — беременна ты или нет,
а чтоб был Гинеколог всемилоостив и не чинил беспредела.

а пройдешь медосмотр и можешь гулять себе смело,
видишь, райские кущи посажены в парковом чинном порядке,
скучновато немного, ну да здесь уж такие порядки:
вегетарьянство и санитарные нормы отстрела.

вот и ты, наконец, распряжешь обостренное чувство прицела —
тут ни запахов тебе минрельсстройа,

ни шемаханской тебе колбасы,
здесь абсолютная беспредметность и даже не носят трусы,
ну и что, что стеснительно, а ты как хотела?

79

ты уже убедилаь в пустяковости житейских невзгод
и земного удела?

ты уже насмотрелась на нас с надлежащей тебе высоты?

ты уже присмотрела для прибывающих следом повыше
и погуще кусты,

где бы мы разместились с закуской и прочим нехитрым заделом?

ты уже настрочила покруче стишат, как всегда ты умела?

ты нам их считаешь? что с того, что мы будем придирчивы,
как дураки,

если жизнь — только текст, то и смерть начинается
с предыдущей строки
после незначительного летального пробела.

(из имперских хроник)

сергею строканю

в поисках хлеба и зрелищ бомжи выползают
на улицы третьего рима
озабоченный плебс циркулирует
в архитектурных трущобах метро
атмосфера империи как никогда повторима
что бы здесь ни случилось — наперед безнадежно старо
это было когда-то уже: в мерседесах по-патрициански
разъезжают еще не вполне получившие волю
то есть беглые в общем рабы
но куда убежишь от судьбы при эпохе вегетарианской
от гражданских свобод подлежащей укусу травы

80

это было когда-то уже: гладиаторы шли в рэкетеры
и свободолюбивый спартак получал беспроцентный кредит
за морями фарцевали ураном по дешевке скупались квартиры
но на подступах к власти восставший спартак
был газпромом безбожно разбит
и слегка усмирив напирających варваров
с не до конца покроенного юга
расползаясь по швам — хоть тесемки повсюду пришей
завертелась имперская временно давшая сбой центрифуга
уровняв состоянье имущества граждан и неимуших бомжей
и теперь на задраенной вилле не спит по ночам император
затравленный муторной властью
ему б на покой и капустку солить во вполне подходящих
для этого емкостях тутошных ванн
но вчера как обычно в туалете закрывшись
он понял к большому несчастью
что не выйдет в отставку и от этого сделался пьян
и запеленговав с верхотуры небес
неудачного замысла чадный неоновый отсвет
Тот Кто заведует всем стал задумывать новый потоп
только вот тормозила Его неизвестность полнейшая после:
Он бы так поступил если б знал — что Ему делать потом

что Ему делать когда несогласные с замыслом Божьим
свои эластичные жизни измочалив как штопанный презерватив
будто зомби добрадаем к Его неминуемому подножью
свой билет (как иван карамазов) обронив посредине
житейской толкучки и святому петру его не возвратив

ПЕССИМИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

мы выпали у Бога из-за пазухи,
а думали — из пыльного мешка,
из грязного белья или житейской засухи,
из затяжного трансфинитного прыжка.

мы думали, что в результате сбоя
или запоя, или от тоски
под самый занавес необитаемого кайнозоя,
неизживаемого до гробовой доски.

мы выпали с тобой в пятидесятых,
когда меж римом и москвой ни зги,
казалось, что мозги заходят за мозги,
не доставало тут еще пархатых.

и никаких красотостей не жди:
ни родин-матерей, ни грез патриотизма,
здесь бродит призрак — призрак ревматизма,
поскольку сыро и частят дожди.

и если невменяемы вожди,
а череда их без прорех и пауз,
то значит скоро всех их сменил микки маус,
но и тогда ты ничего не жди.

СТИХИ О ВЕЧНОМ СОЛДАТЕ
ИЛИ КАРМИЧЕСКИЕ ДЕЛА

бежит с ружьем по вспаханному сердцу
и каблуки взасос целуют глину,
смерть приоткроет низенькую дверцу
и он нырнет в нее, сутуля спину.

а кто-то насадил вокруг дерева взрывов,
безлиственных и потому графичных,
а кто-то помышлял, страницы жизни вырвав,
о подвигах и буднях прозаичных.

и много войн спустя из телерепортажей
с вялотекущих нынешних сражений
вновь промелькнет одним из персонажей
неубедительных побед и поражений.

по телевизору покажут срез ландшафта
и бронетранспортер, курящийся вдаль,
тень от него длиннее подоженного жирафа,
а правдашний кошмар слабей, чем у дали.

83

(а что ты думаешь, взаправду, что ли, умирают,
когда взаправду даже вовсе не живут?
взаправду, может, только матюгают,
берут на понт или в чечню везут,
или в любую из провинций поднебесных
с запекшейся трескучей кожурой,
с небритостью растений повсеместных
и чуждой метрополии жарой.)

не в ту ли, о которой пел саади
в краснознаменном хоре на эстраде
и запевали в маршах на параде,
и высоко в горах в погранотряде,
подхватывали боевики в засаде,
в накрытом артиллерией детсаде,
и, зачитав над мертвыми коран,
затягивал задумчивый душман.)

но если есть у смерти вход и выход —
проходит сквозь нее душа навывлет,

жизнь отстрелив, как ядовитый выхлоп,
в надзвездный план, куда отстойник вылит.

и совершив кульбит с сальто-мортале,
назад вернется сквозь прорехи мира,
чтоб снова проживать в жилом квартале,
где быть должны зарплата и квартира.

а значит, как детей пирке или прививка,
пугает смерть испугом медицинским,
и смерть в бою — не сбой или ошибка
в не всех вместившем алгоритме свинском.

мы все иероглифы прочитанного текста,
и в нем описаны все варианты смысла,
нам кажется, что жизнь — бесформенное тесто,
что мы налепим из нее порядковые числа.

погиб в бою и не успел стать гадом,
а мог бы жить, завидуя и маясь,
но, как архангел, над Небесным Градом
взмыл в сапогах и в рай вошел, не разуваясь.

будь прохожим

джону хаю

человеки проходят и смотрят в тебя как в проем
ты для них — промежуток

они для тебя — объем

и

при

беспрепятственном прохождении сквозь друга
ничего не чувствуешь кроме незначительного испуга
так пугаются овощи вызревая на огороде
формируя свое представление о необходимости и свободе

но наедине со своими отпечатками пальцев

со своей потливостью подмышек и ног

с угрызаемыми ногтями и совестью замусоленной как шнурок

со своими ботинками и засевающим в них

кошмарным гвоздем подсознания

ты — с проставленным чернильным штампом

небесного отека* второго сорта создание

и воспринимаемая свое существование

как не подлежащий обжалованию раскрут

перебегаешь через лицо и вскакиваешь

на пятнадцатый маршрут

едешь по пироговке до зубовской избавляясь

от частностей словно сбрасывая напряжение

ведь побочные мысли — это зондер-команда

бьющая на поражение

и вываливаясь из троллейбуса на остановке у садового кольца

ты вливаешься со среднестатистическим выражением лица

в циркуляцию жизни по венозной системе столицы —

можно здесь испариться

но уже невозможно врубиться

для чего продолжать телепаться в каменистых ее берегах

если жизнь или смерть понимаются нами как страх

85

* ОТК — отдел технического контроля.

оказаться один на один со своим облапошенным бытом
стариком со старухой сидящими перед разбитым корытом
проклинающими

золотую рыбку

чей голосок inferнальный

на практике феней пестрит и сулит тебе рай криминальный

и векторно совпадая ты движешься в общей струе

изнывая в остаточном психологизме

как в заношенном нижнем белье

ведь известно заранее

что нельзя навсегда зацепиться за это движение

что сюжет неподвижен как апофеоз поражения

что бессодержательна сумма варьируемых посещений

булочных кабинетов курортов больниц или касс

когда твое «я» отключаясь пускается в кроль или брасс

по житейским гольфстримам омывающим неравномерно

автобиографический материк

чи широты вычисляются нами настолько примерно

что не избавляет от подавленности

включенность в тотальный процесс

циркуляции по улицам города с рефлексией наперевес

и вот когда на автопилоте

переулками вырливаешь на старый арбат

больше уже не требуется доказательств

и так каждый встречный горбат

поскольку не усомнится что исправить его может только могила

то есть мир невменяем

и его социальность всегда обойдет тебя с тыла

и будучи ксероксом города неоднократно размножен

со сроками жизни себе на уме

чтобы стать профессиональным прохожим нацарапай

ключом свое имя на свежоштукатуренной стене

ты здесь был и довольно

и это максимально оправданное самовыражение

безболезненнее египетских пирамид

почти что Господне преображение

(ВОЗРАСТНОЕ)

жизнь не болит на пройденном этапе
и ни одна звезда не говорит,
жизнь не болит и на одном нахрапе
куда-то движется, чего-то норовит.

и все имеет достоверный вид:
природа — лыбится, народ — в универмаге,
тогда к чему ненужные напряжения,
зачем хромать душой, как инвалид.

вся эта сумма мелочных обид,
как чек пробитый кассою в продмаге,
и если все мы здесь антропофаги,
то примирит нас только обещанье.

и будь ты выбрит, вычищен и сыт,
а все обязанности — только на бумаге,
ты все равно томишься по сермяге,
простой и доброй как антисемит.

а если кто-то почему-то жид,
тогда в порыве праведной отваги,
чтоб не заглохнуть в этой передраге,
возьмет и въедет в общий геноцид.

и позабыв, что значит дефицит,
страна катается, как сыр в капитализме,
а если что не так в программном катаклизме,
то будет вырезано, как аппендицит.

(ОБЫВАТЕЛЬСКОЕ)

жизнь предметов пристальной жизни проживающих в доме
они терпеливо дожидаются когда мы научимся счастливо жить
протираание пыли — первая из добродетелей кроме
добродетели выжить когда уже незачем жизнь потрошить

оцепенение исповедуется ими во избежание разовой смерти
потому бессмертие — предмет непрерывных

повседневных забот

каждая разбитая чашка влечет за собой колебание тверди
по причине образования незаполнимых онтологических пустот

чаепития продолжительней эволюции и совершенней истории
а вечерний просмотр телепередач неминуемей

грядущего небытия

ожидаемый апокалипсис не состоится в заданной директории
заигранный телерепортажами и лишившийся звериного чутья

есть одна только данность — теплокровная цивилизация
и сколько хочешь изблевывай ее из своих запечатанных уст
страшный суд не страшнее чем засорившаяся канализация
или холодильник утробные молитвы бормочущий когда пуст

так опровергаются домыслы перетолковываемого христианства
по которому жить — уже жертва

и умереть — наипростейшая из жертв

катехизис ограничивается детализацией

окружающего пространства

где наличие провидения — одна из второстепеннейших черт в

нескончаемом списке подробностей ставшего замыслом быта

с передоверенными предметам заботами о завтрашнем дне

эта мелкая вечность таким прилежаньем добыта

что способна еще симулировать жизнь на своем обитаемом дне

РОЖДЕСТВО

(в годовщину памяти нины искренко)

Господь не посещает больше этот дом
здесь хуже топят и не стало денег
Он поселился выше этажом
и где-то пашет как пожарный веник

ну что же и без Бога проживем
как выродки в язычестве и всуе
зато в прямом эфире на Него насмотримся живьем
что Он кумекает и как Он голосует

простая жизнь сама себе Господь
и держится своей вялотекущей веры
кухонной евхаристии вкушая кровь и плоть
и в ожидании грядущей высшей меры

и ежели Творец отныне деловит
и не желает больше быть ранимым и гонимым
Его подобьем станет преданный Им быт
покорней Агнца немее пантомимы

и белая зима сама себе кума
нагрянет несмотря на коридор валютный
и тут не требуется бешеного фарта и палат ума
чтобы омыться целиком в ее купели абсолютной

еще усилие и кажется что вот
сорвешь солидный куш оплатятся издержки
и въедешь как в журнальный разворот
в рай лакокрасочной кормежки и одежды

где нету времени потраченного зря
и не бывает жизней прожитых напрасно
а если что и есть то строго говоря
лишь парфюмерный пот гремучего соблазна

среди потертостей где некуда переть
где обстоятельства скудны и не парадны
согласие на жизнь с согласием на смерть
взаимозаменяемы и кратны

когда у времени кончается завод
оно творится в явочном порядке
судьба не тикает но скоро новый год
богооставленность но подступают святки
родится Мальчик упадет звезда
как заросли расступится реальность
конец эпохи — как конец поста
существованье — как полет на дальность

НА РЫБЬЕМ НАРЕЧЬИ

люди умирают сегодня,
а жизни живут навсегда,
и это отмазка Господня
тому, кому смерть — ерунда.

отложив свою жизнь в долгий ящик,
уж некуда больше спешить,
единственный Душеприказчик
не станет, как нелюдь, долгами душить.

чужие на празднике жизни,
в синодик властителей не внесены,
которым, что ни скоммунизди,
всё не обесчестишь грядущей весны.

когда, ампутировав душу,
выходишь пройтись по тверской,
как рыба из моря на сушу,
глядишь с безразмерной тоской

на пообсторонние шопы
с глазурью заморских витрин,
а видишь нарытые наспех окопы
по профилю тесных кавказских равнин.

и сколько б на рыбьем наречьи
ни пробовать мир объяснить,
есть рыбий язык и увечный —
глухой, как слова человечьи, —
и некому их не совместить.

ведь рыбе, попавшейся в сети,
без пользы губами латать —
на страшном последнем ответе
слова человечьи глотать.

но после, когда уже люди
тем рыбам пойдут на улов,
что скажут, вихляя на блюде,
и звук немоты их каков?

(это и то)

это некому, что ли, сказать
или некому, что ли, услышать,
это можно, как вышивку, вышить,
или можно, как петли, вязать.

это можно почти и не жить —
пригубить и поставить обратно,
это будет чуть-чуть неприятно,
но не так, чтобы вовсе не пить.

это так нелегко повторить,
как стгонять за спиртным или в кассу,
или в гегемоны к рабочему классу,
или Господа Бога поторопить.

потому как не просто дожить
и дожать свою жизнь до предела,
умереть — это только полдела,
ну а дело не трудно пришить.

потому — как кого-то пришить —
так мы все тут как тут моралисты;
шовинист ты или пацифист ты:
спазмы в горле и хочется жить.

то, что можно на раз совершить,
то на два совершить не удастся, —
это точно, не стоит стараться,
лучше выйти и свет потушить...

(анти-родина или прыжок с трамплина)

закругляясь пространство распрямляется с той стороны
расползаясь по долам и весям громоздкой страны
невместимой в простые и ясные формулировки
то ли родины-мачехи то ли сороки-воровки

я тебя не люблю — присягаю в своей нелюбви
и довольно об этом — давай разберемся с долгами
только ты все виляешь — уклоняешься сесть визави
за народами прячешься или гремишь сапогами

может нет тебя вовсе и ты — эластичная ложь
о несбывшемся царстве промышленных гиблых окраин
и пейзажи твои ядовитые в экологический рай не возьмешь
и из рек не напьешься — и в генах гуляет татарин

как легко возникает масштаб если мы остаемся вдвоем
и как будто к титану титан я к тебе обращаюсь на равных
но ведь ты же любого швырнешь за подвластный тебе оком
всенародно и без околичностей противоправных

ты сама не такая и такие тебе ни к селу
ну а к городу ты ни таких подпускаешь на выстрел
если б девушке каждой ты выдать могла по веслу
если б каждый солдат твою землю собой героически выстлал

но дороже себе перепутать твою пустоту с нищетой
потому и жалеть тебя — тоже совершенно пропащее дело
кого хочешь уходишь ты своей белозубой тщетой
кого надо лишишь его прямоходящего тела

даже имени-отчества или даже ошметков судьбы
даже самой последней из совести сшитой рубахи
так что вылетит даже державин из им же воспитой трубы
так что выплывет вспять из урала чапаев верхом и в папахе

значит все же ты лыжный трамплин и прыжок с тебя — это аспект
описания вечности в терминах чуждых конечному знанию
и как джип вылетает с разгону

на широкий столичный проспект —
через силу посмертию каждого ты задаешь очертанья

(ТОПОГРАФИЯ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА)

за окном ржавый хлам гаражей
пересыпанных оптовым снегом
под нестиранным небом бомжей
где подтеки плывут по прорехам

в снег повоткнуты метла дерев
в их ветвях восседают вороны
чем здесь жить ничего не сперев
разве лопать всю жизнь макароны

где-то с краю левее вдали
строят райский чертог рэкетирам
занесло ж их в трущобы земли
в близость к общим убогим квартирам

и подрезаны крышей крутой
каплевидно-сусальные главки
как забытые в келье глухой
в рукодельи царевны булавки

и туда же без нитки иглой
золоченой университетской
воткнут с ленинских гор за рекой
шпиль граненый эпохи советской

а возьмешь до упора правей
там видать как маньяк-энтомолог
и победу и ангелов с ней
насадил на одну из иголок

вечерами хитинный покров
небосвода над домом напротив
поджигает футбол лужников
и сгорает его не попортив

и как будто бы крутят в кино
дни за днями в ускоренном темпе
потому если смотришь в окно
как эстампы меняют на стенде

на которых всегда различишь
пусть свой с черного хода дворами
на котором послушно мельчишь
жизнь свою вымеряя шагами

потому что ведет в гастроном
в закоулки впадая бухие
чтоб пройти по нему обогнем
типографию патриархии

и на выходе где особняк
что теперь занимает минатом
свора местных приبلудных собак
дружелюбно обдаст тебя матом

здесь живетса почти что легко
как живетса за миг перед казнью
если только дышать глубоко
и проникнуться богобоязнью

ведь рассыпав пейзаж и собрав
из одних логотипов короче
ты ужмешь его виды поправ
до молитвы Иисусовой «Отче...»

а молиться и есть проживать
на тебе Богом данным пейзаже
дни мусолить и ночи жевать
и на что-то надеяться даже...

НОВОДЕВИЧИЙ

монастырь как всегда неподвижен
хоть ухожен он и не обижен
он приравнен теперь к партократу
и его как козырную карту
подтасовывают к госаппарату
только он все равно не облыжен
все стволы его каменных башен
как макет вавилонских скважин
не сквозных прямо в спальню к Богу
а пунктирных — держи мол дорогу
не в могилу а вверх понемногу —
только путь этот чуть приукрашен
этот понт только к делу прилажен
подневолен он — а не уважен
возведением царских скворечен
смысл подметный его обезврежен
обесточен — а не безгрешен
как целующий рот напомажен
ты войдешь в него будто приглажен
взмахом неба немеренных сажень
перекрестишься на купола
будь прилежен ты или отважен
мог и ты быть от мира отважен
стала б совесть как сажа бела
стала б совесть как те же вороны
невзирая на цвет похоронный
прощена по святой простоте
но от жизни своей оборонной
подноготной глубинной кессонной
отрекаются лишь пустоте
пустота ж не имеет могилы
и в себя не вмещает вполсилы
будь при жизни ты хоть соловьев
что давыдов ей что ей брусилов
или малоизвестный трусилов
ни братьёв у нее ни сватьёв

пустота хороша в окаймленьи
у китайчатых стен в обрамленьи
у камней замеревших в движеньи
в послушаньи или в услуженьи
в понуканьи у колоколов
в небрежении у облаков
в поругании у человек
для которых итог одинаков
так зачем это нам покумекав
и о чем это мы покалякав
скопом всех сорока сороков
в снисхождении у дураков...

КОНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ

когда Генеральный Конструктор скамандует «старт!», —
Он пока еще медлит, может, я недостаточно стар, —
я стартую отсюда, и тогда поминайте как звали,
и до встречи тогда на заоблачном вышнем вокзале.

на небесном перроне, в толчее необъявленной станции
пробежит холодок по спине бестелесной субстанции —
это с грустью щемящей, какой уж придется багаж
вынося из вагона
я сойду на асфальт невесомый последнего в мире перрона.
меня будут встречать —

это будет умильная и слезоточивая сценка —
мои бабушка с дедом, семен и прилежная нина искренко,
и отцов моих двое: неродной, но родным моим ставший,
и родной, как чужой, в бытовухе бесследно пропавший.

98

может, кто-то подтянется к тому времени тоже добавочно,
можно будет об этом в окошке узнать,
обратившись в посмертную справочную.

также подковыляет с трудом, как трусила
по полям калифорнии прежде
джона хая собака со лжерусской
обкорнанной кличкой — «дежда».

и пойдем мы всем скопом куда-то наподобие дома родного,
где накрыты столы и томятся от груза съестного,
где салат «оливье» в середине главенствует единолично,
а его окружает, что ему подобает и в случае нашем прилично.
это как на земле первой по традиции коммунистической
или как возвращаются из экспедиции долгой арктической,
словно праздник тускнеет слегка,
зависая в неизбежной обычности,
и тогда все садятся за стол, невзирая на личности.

и увижу, что Кто-то сидит между дедом
и навеки двадцатипятилетним семёном,

неужели, подумаю, здесь за столом Его вижу,
а не перед амвоном,
неужели и Он будет пить эту водку
и огурчик откусывать хрусткий,
неужели и Он будет так же, как все,
это делать фольклорно, по-русски.
и еще, что подумаю, в этот раз мне, должно быть, проститься,
только, чтоб Он не видел, тайком не мешало бы перекреститься.

(в процессе чтения)

от буквы к букве топают влюбленные глаза,
а смысл не строится и слово не ложится,
контекст непроходим, что и сказать нельзя,
а уж тем более не выйдет побожиться.

литературы уходящая натура
уже не претендует на пейзаж,
утилитарный, как макулатура
и пост-тоталитарный антураж.

на натюрморт — и то уже не претендует,
не претендует даже на литфонд,
она уже и цэдээл* не арендует,
ей больше не под силу взять кого-нибудь на понт.

ее влечет к упадку хилый генофонд,
сформировавшийся от близости с «совписом»**,
и если андеграунд трачен бесом,
то всей литературе предстоит ремонт.

побелят, выкрасят, построятся во фронт,
а там подтянутся другие поколения,
и разгораясь, как в костре поленья,
глядишь и выправят общекультурный фон.

и только ты один в пределах личной жизни
не вступишь в общедоступный строй,
и кончишь жизнь не как провидец и герой,
а как родившийся, чтоб сладко спать при коммунизме.

* ЦДЛ — Центральный дом литераторов.

** Издательство «Советский писатель».

ВЕСНА

в расстегнутом воздухе птицы
расчертят проемы пустот,
и смотрят слепые глазницы
дырявых апрельских высот.

и кажется, что распечатан
всем сущим лазурный проем,
что каждый зачуханный атом
в нем встретит радушный прием.

что там голубые дорожки
ведут по ступенькам наверх,
там встретят тебя без одежды,
и это не ставится в грех.

ведь в той глубине голубиной
в незрячей немой вышине
наш прах — первородная глина,
тождественность мужа жене.

там главное вовсе не эта
резьба в сочленении ног,
а ветхое слово завета,
простое как ржавый замок.

что он запирает — не ясно,
что там воровать — невдомек,
и нет никакого соблазна
взломать и ступить за порог.

и что в том небесном амбаре?
поленница колотых дров
да утвари всякой по паре —
вил, кос, пил, лопат, топоров.

узришь раньше времени тайну
и сам себе будешь не рад,
впадая то в виру, то в майну,
а все же живешь наугад.

(ДИНАМИКА ПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ)

жизнь кончилась не начинаясь
а все что в ней произошло
шло ничему не подчиняясь
неопознаваемое нло

сначала как-то запинаясь
как недоделанное чмо
то перед кем-то распинаясь
как на вступительных в мгимо

а после как борцы сумо
перед началом разминаясь
или берясь за гуж с умом
а после крепко расслабляясь

как в воскресенье разговляясь
поллитрой пивом и вином
и под конец как снежный ком
как под уклон — как разгоняясь...

(КРЕДО НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ЖИЗНИ)

я живу не отсюда
не из этих пропащих махин
возведенного неба
целесообразной конструкции

ничего долгосрочнее нет
в заблужденье вводящих мякин
и железобетоннее
лепета детской дизъюнкции

я живу мимо цели
и не это конечная цель
а конечная цель
не конечная цель этой цели

если лодка империи
села всем днищем на мель
не пускаться же вплавь
чтобы рыбы тебя поимели

чтобы жить без зарплаты
не надо большого ума
а чтоб вовсе не жить
так и этого тоже не надо

разве только чуть-чуть
соскочить напоследок с ума
чтобы быть адекватным
всеобщей стихии разлада

(СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ)

раз никуда мне не хочется,
я счастлив и выдался дождь,
я забуду свое имя-отчество,
словно первую встречную ложь.

я уже ни за что не в ответе,
разве лишь за основу основ,
государственно на табурете
восседаю в трусах без штанов.

я спокоен, как вождь в мавзолее,
мне нет дела до прочей трухи,
за компьютером перед дисплеем
я долбаю вот эти стихи.

дождик кончится, солнце проглянет,
подойдет ко мне сзади жена,
наше счастье торжественно вянет,
простираясь на все времена.

и как только одна она может,
через голову глядя в мой текст,
вдруг прильнув, мне на плечи возложит
рук своих оградительный крест.

а когда отойдет и займется
мирозданием, кухней, собой,
снова вечность, как свечка, займется,
жизнь продлится, дающая сбой.

(ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ГАМЛЕТА)

голодный ветер, обглодав дома,
пошел рыгать по мерзлым подворотням.
здесь некуда бежать, здесь дания — тюрьма,
а так же франция, зимбабве и капотня.

и русский гамлет, возвратясь домой
без двух евреев — розенкранца с гильденстерном,
глядит в окно — по улице прямой
ночь катится полупустой цистерной.

в европе — холодно, в америке — темно,
а эмиграция — чем дальше, тем хирее,
так может распахнуть и как нельзя скорее
взять да и выпасть головой в окно?

нет больше заграницы как в кино,
а есть как в жизни — так же, но тупее,
застегнут млечный путь на небе портупеей
и в генералы Бог произведен давно.

альтернативы нет, покоя нет и воли,
и в общаке отечества со всеми равной доли,
а что же есть? — квартира на четвертом этаже,
безденежье и быт в частичном неглиже,

кухонное житье, на мойке — тараканы,
обветрившийся хлеб, невытые стаканы...
вдруг — слышишь? — затемно внезапный, как омон,
над гаражами колокольный звон.

но что же там в его тягучем отголоске,
что, кроме принужденья, что ни попроси?
вот гул затих — никто не вышел на подмостки,
здесь некому глазеть в бинокли на оси.

случай

у нас была страна круглобольшая,
а вышло, что она теперь чужая,
и вот империя, сама себя лажая,
линяет пятнами стригущего лишая.

мы ездили в трамваях и на тачках
и был понятен мир, как муравейник,
но подвизавшийся здесь массовик-затейник
заиклился на митингах и стачках.

а ведь понятен был сей Божий муравейник:
направо — власть, налево — рукомойник,
где туалет мужской и песня «коробейник»,
или чайковский, ежели в стране покойник,

из радиотранслятора на мачте в цэпекео*...
там я, мой друг и друга друг — подельник,
опохмеляясь как-то в чистый понедельник,
раз угодили вместе в настоящее кино;

мы ехали сюда с квартиры в косино,
где у подруги проживал брательник,
на нем был старый заскорузлый тельник,
а пили мы портвейн и кислое вино.

и вот без предисловий, распахнув окно,
с шестого этажа он выпал в мелкий ельник,
ему-то все равно — и жил он как отшельник,
его грядущее и страшно и темно,

а нам расхлебывать за ним его говно.
и мы рванули с хаты, прихватив будильник, —
его себе притырил друга собутыльник,
свои часы он проиграл соседу в домино.

не помню точно, как мы ехали в метро,
но помню, как на «парке» отоварились в киоске,
еще там гужевались две смазливенькие соски,
но мы их волновали, как мерлин мурло.

* ЦПКиО — Центральный парк культуры и отдыха.

и только мы пристроились с вином,
где туалет мужской и репродуктор плоский,
как из него душевно заиграл чайковский,
как по заказу и, опять же, как в кино.

и не успели мы отпить проклятое вино,
откуда ни возьмись к нам движется брательник —
весь как живой, на нем все тот же тельник —
и, подойдя, нам говорит смурно:

у нас была страна круглобольшая,
а вышло, что она теперь чужая,
и вот империя, сама себя лажая,
линяет пятнами стригущего лишая.

мы ездили в трамваях и на тачках
и был понятен мир, как муравейник,
но подвизавшийся здесь массовик-затейник
зациклился на митингах и стачках.

а ведь понятен был сей Божий муравейник:
направо — власть, налево — рукомойник,
где туалет мужской и песня «коробейник»,
или чайковский, ежели в стране покойник...

(МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ)

александру еременко

мы встретимся с тобой у магазина —
он здесь перестоял такие катаклизмы
и так зимой его обкладывали зимы,
что для меня он стал залогом вечной жизни.

невывразительны все описанья рая,
а здесь действительны все обороты речи,
здесь можно, жизнь свою перевирая,
стать самому себе судьбы своей предтечей.

здесь что предвидишь, то и состоится:
закупишь грамотно — потом опохмелишься,
а маху дашь — аукнется сторицей,
а подстрахуешься — и Бога убоишься.

когда и сам Господь пьет из граненых кубков,
когда сквозит с небес из всех отверстий,
взаимосвязь отчетливых поступков
почти что избавляет от последствий.

так, в целом, пролетев по жизни мимо кассы,
хотя и отстояв неоднократно в кассу,
вольешься в среднестатистические массы
и приобщаешься к правильному классу.

ведь Царство Божие штурмуется навалом,
как винный магазин в эпоху дефицита,
а что бы поперек народной массы встало —
что по техническим причинам вдруг закрыто?

но рай — без выходных и прочих воскресений,
без перерывов на обед, ревизий и учета,
без спецобслуживаний и ограничений,
и круглосуточно в раю кипит работа.

здесь все устроено по-умному, как надо,
рассортировано по полкам и отделам:
крепленное — для дам, а детям — лимонада,
все вежливо, культурно, все по делу.

здесь — это на углу цветного с колобовским,
а, может, на цветном, но ближе к самотеке,
а, может, на углу астрального с московским,
тогда уж это там, куда захаживают боги.

не разминуться нам с тобою, где ни шастай,
какая б в мире ни творилась подтасовка,
и пусть сейчас мы видимся не часто,
пусть происходит в жизни нестыковка.

(ПРЕДСКАЗАНИЕ)

евреи попрут и упрутся
в великий еврейский вопрос
а русские водкой упыются
и все это будет всерьез

а может и кровью упыются
таков уж их биоценоз
в далеких сибирских кибуцах
где только песцы да мороз

ведь сущности не поддаются
здесь не допустим перенос
а после с упертостью куцей
империю пустят под снос

и может быть этим спасутся
за всплеском последует сброс
богам на летающих блюдцах
придется нам сделать отсос

и может спасутся все вместе
похмельного скрутит дуга
еврея еврей перекрестит
и всех их засыпят снега

мы будем топтаться на месте
ведь места у нас до фи́га
нет совести места и чести
где только песцы да пурга

и все пустотой обернется
безлюдьем среди скальных пород
где плавают звезды в колодцах
сосна до луны достает

ведь что-то буддийское бьется
в напевах восточных славян
садится арийское солнце
ложится монгольский туман

(АПОКАЛИПСИС ЗИМОЙ)

и без горьких вод полыни-звезды
и без труб иерихонских финальных
я отчалить готов для бессрочной езды
по ландшафтам полей inferнальных
по разбитым сугробам остывшей любви
наметенной за долгие годы
никуда не деваться сколько когти ни рви
от ее неподъемной свободы

я живу не специально или что-то хочу
просто счетчик включен теломера
и такая свобода мне не по плечу
и не держит меня моя вера

и теперь уже ясно что перестоит
шаткий город со всем своим скарбом
этот цивилизованный палеолит
поглощенный всецело соцартом

апокалипсис здесь что бездомный щенок
в нашем зазимовавший подъезде
и любому навстречу ложится у ног
хвост поджав при малейшем наезде

и уже недействителен миф — но живуч
и привязчиво антропоморфен
осыпается древних печатей сургуч
в венах снег выпадает как морфий

1 1 1

(из жизни растений)

не жди, но надейся на чудо,
на ссуду в счет Судного дня,
на то, чтобы выбыть отсюда,
ни в чем никого не вина.

всего лишь за глупое право —
самим разбираться с судьбой —
тебя ожидает расправа
и кончится дело трубой.

но, может быть, выйдет поблажка
и, может, поставят в зачет,
что жить для живого — натяжка:
горбатого яма влечет.

чтоб в ней в полный рост распрямиться,
чтоб сбросить придаточный груз,
в открытые двери ломиться
обязан законченный трус,

обязан законченный гений
приладить к виску пистолет,
живущему жизнью растений
положена жизнь до ста лет.

а как это — жизнью растений,
и что это будет за жизнь?
а так — непролазность сомнений
как долгая тихая шизь,

без сна засыпать-просыпаться,
ложиться и снова вставать,
весь день — как на месте топтаться,
и снова ничком на кровать.

а прочим всем будет казаться,
что жил ты как фикус в окне,
ведь ты же не будешь касаться
разборок, идущих вовне.

бессмысленно не соглашаться,
доказывать что-то — вдвойне,
ты просто обязан лажаться
в невидимой личной войне,
суметь устоять без подпорок
в сжигающем жизни огне,
и каждый, кто был тебе дорог,
уже не убудет в цене.

(у ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА)

оле катаевой

есть законченная свобода —
называется «Божья воля»,
понял это я у перехода —
свет был красный.

со мной на приколе

монастырь встал по правую руку,
он столетья стоит здесь на красный,
красный сам — то ли в крестную муку,
то ли с понтом, что огнеопасный.

я скосил правый глаз — не товарищ
гусь свинье, монастырь человеку,
жизнь одну ты со мной не мытаришь,
не пойдешь в гастроном и аптеку,

не пойдешь обходить магазины —
присмотреть, где чего подешевле,
и тянуть тебе эту резину,
как другому схохмить подушевной.

ты останешься, стоя на месте,
сторожить свою преданность Богу,
мандражом оказаться в бесчестье
повторяя во всем синагогу.

но не может так быть, чтоб с тобою
Бог остался, когда Его чада
бродят между сумой и судьбою
по руинам Небесного Града.

и когда переключат зеленый,
Бог со мною уйдет по продмагам,
и Его свитерочек крапленый
будет мне примелькавшимся флагом:

если вдруг потеряю из виду,
то обратно вернусь к переходу.
а тебе я скажу не в обиду —
ты еще не врубился в свободу,

ты еще не сечешь Божью волю,
и твой пафос все жижее и жижее...
сколько я свою жизнь ни мусолю,
а она мне все ближе и ближе...

СУМЕРКИ ЖИЗНИ

садилося сонце за дома
сводило день на убыль
напоминая задарма
железний мутний рубль
деревья задирали ввысь
лохмотья голых веток
над ними облака неслись
как стаи вагонеток
и галки хлопотно вели
бомжевый образ жизни
им кроме мусорной земли
дать нечего отчизне
а небу сверху до всего
на свете мало дела
галантерейно как трико
в нем все порозовело
монументальные дымы
с подстанции за речкой
луна с отливами хурмы
мороженой конечно
и приближался смутный час
февральского заката
когда как полчища на нас
прут совесть и расплата
ты говоришь — не надо брось
нам тоже дела мало
садишь не стоит злиться врозь
до белого накала
посмотрим телек поедим
попьем чайку вприкуску
наш ветхий быт непобедим
я молча скину блузку
я молча юбку расстегну
я разожму колени
непостижимые уму
мы предадимся лени

и полуголые уснем
и выславшись на утро
как винни с пяточком сочетом
что поступили мудро
но я уперто не хочу
признать что так и надо
бессвязно что-то лопочу
по поводу расклада
что вот мол жизнь не удалась
по той простой причине
что подобают спесь и власть
отпетому мужчине
и оттого весь наш бедлам
и оттого всё глупо
но ты мне с горем пополам
нальешь тарелку супа
и сев передо мной в упор
подашь бутылку пива
ты как готический собор
осмысленно красива
ты скажешь — нечего хотеть
и нервно ложкой клацать
пусть жизнь не дожита на треть
всего лишь лет на двадцать
хлипка как шатенький амбир
и нам за сорок с гаком
но оттого пропащий мир
не стоит ставить раком
пускай асфальтовый каток
планеты катит дальше
ее очередной виток
нам не прибавит фальши
в готовых выстоять домах
наперекор стихиям
и разве это не размах
и это не стихи вам?

(КОНСТАТАЦИЯ)

прямая речь, простая, как простуда,
и послевкусье внятного стыда,
жизнь прибрана и вымыта посуда,
и время поймано снует туда-сюда.

но не развалится уже на «нет» и «да»
необратимое: я знаю — я отсюда,
здесь, как ручное, руку лижет чудо
большого быта, мелкого труда.

само так вышло, так легли года,
и вавилонская не придавила гряда,
тут дело не во мне, я отдыхал, покуда
мир воздвигался за грядой гряда.

и приобщился только лишь тогда,
когда его сквозная амплитуда
вдруг извлекла меня из ниоткуда,
чтобы поздней отправить в никуда.

где нет ни страха Божьего, ни блуда,
и где течет летейская вода
вне берегов, поверх добра и худа,
и где не кажется, что это ерунда —

ходить по улицам среди жилого люда,
ни наследив, ни сгинув без следа.
трехфазный Бог — с ним баловал иуда,
когда на нем замкнуло провода.

(ДВА БЕРЕГА)

тефтели готовят к обеду,
под вечер включается свет,
по ящику травят беседу,
а Бог то ли есть, то ли нет.

на стол накрывается скатерть,
по ней расставляют фарфор, —
вот так же когда-то праматерь
в степи разводила костер.

вот так же совсем не обидно
скатилась судьба в колею,
что там — под уклоном — не видно,
я на неизбежность плюю.

а здесь и светло, и уютно,
почти полноводный покой,
и стелется жизнь поминутно,
как время над вечной рекой.

как будто два берега леты
такой подмосковно-родной:
на этом мы пляжно раздеты,
а есть еще берег другой.

но нам это даже не страшно,
что есть этот берег другой,
он тоже какой-то вчерашний
и тоже у нас под рукой,

как банка приличного пива
или простокваши какой...
и живы мы или не живы —
не важно, такой мой, сякой.

(ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

1.

существует свобода не-выбора
между злом и умеренным злом
вплоть до смерти, что временно выбыла
и присутствует задним числом.

даже если завязаны намертво
и пространство, и время узлом,
и известен порядковый номер твой
и пойдет твое тело на слом,

ты успеешь еще в доказательство
промолчать выбывающим ртом.
и какие уж тут препирательства,
если вся наша жизнь не о том.

2.

если вся наша жизнь беспричинная
разразилась на месте пустом,
и начинка ее перочинная
не убудет с великим постом.

лишь когда суета разночинная
достигает висков шепотком,
слышишь крови шуршание чинное,
будто запись ведут — что почем.

вот тогда, голова дурачина
на плечах, ты поймешь, что потом
происходит коррекция генная,
но без нас, словно мы не при чем.

(ЗАВИСИМОСТЬ)

не обмерить ее, не обвесить,
всех повадок ее не учесть,
а запретов положено десять,
и была бы предложена честь

продевать сквозь игольное ушко
каждый собственный выдох и вдох,
и повинность ее — не игрушка,
а глобальный вселенский подвох.

потому безнадежное дело
всякой важности важной важней,
что бы нами владеть ни хотело —
не владеет больней и нежней.

только надо еще беззащитней,
ведь пропащим уже не пропасть
и никто навсегда не рассчитан,
но разинута древняя пасть

нулевого подшкурного страха,
уходящего в мелкий озноб
после каждого промаха-маха,
после многих ошибок и проб.

нам простую готовность на убыль
суждено до конца соблюсти,
но мандраж накрывает, как купол,
а бесчестье у нас не в чести.

и быть может, что вся совокупность
социальных и звездных систем,
всех времен несусветная глупость
или подлость случились затем,

чтоб на чем-то творенье купилось,
над собою упрочило власть,
отдавалось чему-то на милость
и до смерти натешилось всласть.

(ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА)

не инерция и не прострация,
а под честное слово закос,
промедлений тягучая грация,
приближение смерти всерьез.

это жизни предвечной проекция,
вовлеченность конечной судьбы,
а не взносы за секцией секция
в многоярусные гробы.

и не дальняя иллюминация
чисто праздничных райских садов,
а текущего дня инсталляция
в наслоенных племен и родов.

и какая там реинкарнация,
повторяться с какого рожна?
оболочки земной вариация
лишний раз никому не нужна.

никому не нужна пролонгация
батарейки, спаленной дотла,
и загробной тоски эскалация
с нагнетаньем статичного зла.

нас удерживает гравитация
от погибели на волоске,
мы не то, что бы цивилизация,
а следы на прибрежном песке.

и не страшно, что сверхмотивация
слижет нас языками воды,
вечность — это не пострезервация,
а откуда берутся следы.

(ВЫХОД)

перебежишь дорогу от булочной к киоску
или войдешь в троллейбус на ближней остановке
и ты уже поддался и ты уже свой в доску
в камвольно-трикотажной заштатной обстановке

вот ты уже участник дорожного движенья
а для чего из дома ты выбрался наружу
и стал субъектом права объектом раздраженья
когда хотел всего лишь купить еды на ужин

вот ты уже попался на общую наживку
себе не отдавая в том должного отчета
как приобщился к делу и угодил в подшивку
и засветился в людях как на доске почета

в разряде человеков в подвиде пешеходов
теперь ты прозябаешь в одной из тех вселенных
где мало альтруистов но много доброхотов
и до хрена спецназа омона и военных

так всех нас подминает бездумная система
ей наплевать что совесть на дне еще осталась
что равенство и братство — исчерпанная тема
кого из нас волнует сейчас такая малость

ей наплевать что рухнет она с таким же треском
как все что были прежде понтовые системы
и с нею вместе жизни идущие доvesком
и все ее прогнозы экстазы и экстремы

а ведь всего-то надо быть духом бестелесным
чтоб не попасть ни разу в ловушку гастронома
и обитать в пространстве с чужими не совместном
не покидая ближних не выходя из дома

(СЛАБЫЕ МИРА СЕГО)

мы еще до того, как родиться,
оправдали рождение свое,
если в жилах не кровь, а водица,
на нее не польстится зверье.

нам под небом из блёклого ситца,
среди покатых и скатных земель,
что в руках никакая синица,
что летящий вдали журавель.

так и так ничего не улучшишь,
ничего для себя не урвешь,
лишь зазря до последнего лущишь
эту даром добытую ложь.

чтобы не было, чем поживиться —
ни продать, ни отправить в расход,
не поймут ни братан, ни убийца,
но осилит обычный урод.

малахольному много простится,
он ведь сделан впритык наперед,
и живет, не взирая на лица,
и, не сильно скучая, умрет.

жизнь — не ужас, что длится и длится,
не ошибочно сделанный ход,
не насильственной воли десница,
а никем не разгаданный код.

чтоб несметные полчища тварей
наследили подобьем своим,
был сперва возведен планетарий
и теперь мы повсюду под ним.

и сквозь множество частных подобий
проявляется веерный след,
свет, сквозящий сквозь дуги надбровий,
проникает в подкорковый бред,

и еще не успев догадаться,
для чего мы на свете нужны,
мы подверстаны строго под святцы,
а не судному дню суждены.

(СНЕГОПАД)

отсебятину лепит зима,
дилетантски всё перевирая —
очертанья, скамейки, дома,
как картинки грядущего рая.

для чего этот святочный трёп,
благодарные эти обманы,
эти душевные души взახлеб,
эти слезоточивые раны.

лишь бы только поверили мы,
что действительны наши поверья —
обереги сумы и тюрьмы,
заметьного лимба преддверье.

валит сахарной нежности ложь,
стопорит коммунальные планы,
но растают снега и поймешь,
что с небес не просыпалось манны.

и не ждут нас ни сад и ни ад,
а совсем нелюдимая область,
и пуститься туда наугад —
это нам предстоящая доблесть.

нам по жизни гораздо родней
то, что в принципе непредставимо,
как глубинная память корней,
позатертая нами галимо.

неизвестность заложена в нас
и беззвучно сквозь нас прорастает,
продолжается здесь и сейчас
и потом никогда не растает.

(СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ)

скучная геометрия
годных для жизни домов,
их породило поветрие
годных для спячки умов.

и небольшие окошечки
с кукольным бытом внутри:
ложечки, чашечки, плосочки,
вера во что ни соври.

и образцы анатомии
с ходом в обратный отсчет,
постные физиономии,
труд и семейный почет.

только разрывы генетики
терроризируют их
и вопреки диалектике
гробят своих и чужих.

детки какие-то стремные
стали родиться на свет,
и сбережения скромные
тают и сходят на нет.

это аминокислотами
пишется книга судеб,
множится генными квотами
хилый людской ширпотреб.

и подлежит сокращению
прежней живучести вид,
смерть равносильна прощению
или прощанью навзрыд.

(ВОСЬМИДЕРАСТЫ)

крылатые, как уши мандельштама,
за днями дни летят бесперебойно,
трагикомедией залеченная драма
играется почти уже не больно.

бульвар петровский в роли очевидца
два с лишним века по тому же склону
слоняется, без мазы отлучиться,
то в белом, то в зеленом — по сезону.

я здесь живу бесцельно и беспечно,
хожу в продмаг за водкой или пивом
и не грузюсь, что слишком скоротечно
проходит жизнь отчаянным курсивом.

мои друзья — сплошные пофигисты,
в шарашках мелких числятся формально,
нас нехотя пасут менты или чекисты —
все без разбора квасят капитально.

пять-шесть из нас реальные поэты,
а остальные больше куплетисты,
троих шерстят в формате «литгазеты»
танцующие власть соцреалисты.

шестидесятники нас тихо ненавидят
и про себя зовут «восьмидерасты»,
их злопыхательство и мухи не обидит,
не то что нас — они не нашей касты.

ко мне завалится, к примеру, без дензнаков,
кося под вечный двигатель прогресса,
один из трех и для заливки баков
портвейн предложит взять для интереса.

с другим мы в битцевском июльском лесопарке,
чтоб совместить культуру с оргвопросом,
пойдем бродить, а кончим по запарке
под вечер к гастроному дальним кроссом.

а с третьим состыкуемся чуть позже,
напишем книгу, не приняв ни капли,
ведь возраст драит, как мороз по коже,
и поджидают нас родительские грабли.

меня когда-то староста поэтов,
по совместительству блюститель в средней школе
алгебраических задачек и ответов,
свел с ними и остался на приколе.

он вычислил меня на общей читке
в литстудии, идущей на гумфаке,
и как-то так сошлись его прикидки,
что он позвал меня участвовать в литдраке.

в цэдри* на вечере схлестнулись две команды —
литинститутские на университетских.
была зима и фонари, как гланды,
простужено цвели в ночах советских.

я шел по мерзлой улице к лубянке,
казалось, мир окоченел как цуцик,
и вдруг на пушечной увидел издалянки
одну из многих мини-революций.

толпа, стекаясь, пучилась у входа,
и кто-то на углу ловил билетик,
вверху над всеми реяла свобода
вне дохлых догм и мутных диалектик.

потом я там стихи прочел провально
и до весны писал стихи запоем —
вот так поэтами становятся аврально,
объяв себя до равенства с собою.

* ЦДРИ — Центральный дом работников искусств

(попутчица)

со мной ничего не получится,
не выйдет со мной ничего,
ко мне обратится попутчица
в одном из вагонов метро.

не то, что бы там малолеточка
с брожением гормонов в крови,
а только что взрослая деточка
со скукой своей визави.

ее ненарочно зеленые
смотрящие влажно глаза,
слегка в никуда устремленные,
как в дальнем скиту образа,

и психика суицидальная,
как надпись на гладеньком лбу, —
в чем разница принципиальная
в постели с такой иль в гробу.

а, может, в подъезде на лестнице,
шугаясь летучих шагов,
как делали наши ровесницы,
когда низвергали богов.

я не извращенец, не выродок,
я выкормыш ссученных лет,
их к псарне приписанный выводок
всей сворой ложится на след.

я выйду на мраморной станции,
а ей еще ехать туда,
куда не пускают без санкции
скрепившего сроки суда.

мы с ней разойдемся во времени,
в пространстве скользнув без следа,
влекомы в разнящейся степени
едрит его знает куда...

синхронный срез

если даже природа отмерена
единицами множимых тел
то еще ничего не потеряно
и не страшен ее беспредел

только было б известно наверное
что раздвинуто ими не зря
наживное пространство трехмерное
проявляясь ни свет ни заря

и когда на бессонной излучине
ответвляется постная ночь
ты ничем в этой точке не мучимый
сам с собой совпадаешь точь-в-точь

рядом спит в неземном воплощении
позабыв свое тело жена
наша жизнь в небольшом упрощении
до беспамятства обнажена

все вокруг в слаботочном свечении
отраженного млека луны
вещи как с прилежаньем в черчении
жидким контуром обведены

и простерт этот мир остановленный
отфильтрованный от суеты
никогда и никем не условленный
до размытой за небом черты

только с улицы нечто неспящее
производит пространственный гуд
это время и есть настоящее
и я внятно присутствую тут

и сейчас ничему не подверженный
отдаю себе полный отчет
как сквозь срез этой ночи подержанной
неподвижность всей толщей течет

безвозмездно себе предоставленный
с мирозданием наедине
только что в этой груди отъявленной
соразмерно своей тишине

не астрального плана субстанция
не отвалочный материал
а щемящая душу инстанция
сочинившая наш сериал

биогенную мыльную оперу
хлипких тварей в изводах ловца
ни в одну контрафактную копию
не скачать ее всю до конца

не рвануть за пределы реальности
распыляясь как тонкая взвесь
не стрематься кромешной летальности
что бы нам ни почудилось здесь

БОЛЬШАЯ СТИРКА

фашизм — радикальное моющее средство,
его применяют, когда по-другому уже не отмыть,
стайки зыбких подростков, спрямляющих детство,
играющих в принцев датских — в «быть или не быть».

в убитой действительности минимум вариантов,
дворы — это фабрики смерти, где запахло постареть,
здесь без пробирок клонируется высшая раса мутантов,
третьего рейха достоин стяжавший бойцовую смерть.

улицы крупнозернисты, как будто мурашки по коже,
дома маршируют в ногу и вдруг срываются в бег,
выплеснишь в стенку на стенку так, чтоб ботинком в рожу,
кровоподтеки залижет по-щенячьи преданный снег.

пырнуть, чтобы убедиться, как валок мешок с костями,
как обмякает, нарвавшись на обоюдозализанное остриё,
это азы гигиены, что-то вроде мелкой стирки руками,
как будто носки постираешь или свое обтруханное бельё.

а впереди еще время поточной машинной стирки,
когда полетят в центрифугу ворохи сношенных тел,
с семизначными номерами на нашитой нательной бирке,
когда всех помоют, окажется, что мало кто уцелел.

банно-прачечный цех — преддверие к богадельне
с общепитовской столовой на дающих приют небесах,
сначала омоют в воде сыромятной, сухой и расстрельной,
а потом уже взвесят на медицинских напольных весах.

в пункте санобработки нет правых и нет виноватых,
здесь один только фельдшер и тот поспекает за всех,
смерть страшна для живых — для беспримесных и для пархатых,
а у мертвых она переходит в беззвучный оскаленный смех.

в чем различие рая со светлым и праздничным моргом,
ведь карающей влажной уборкой не брезговал даже Господь,
время массовой стирки граничит

с невинным телячьим восторгом,
мировая душа отмокает, когда усыхает людская плоть

все китайские прачечные оборудованы бронзовыми котлами,
их выковали старинные мастера в эпоху древнего царства инь,
в них варились народы,

когда мы прятались за лесными стволами
и еще не засматривались в зауральскую косоглазую синь.

а теперь уже некуда деться от всюду дымящих котельных,
где сжигают горючие смеси на растопку идущих страстей,
здесь крутые огонь и вода сопрягаются в плясках смертельных
и для праведной силы давленья выжимается пар из костей.

и уже не народы встают на беспутных господ и хозяев,
а расходный живой материал умиляется жерлам махин,
сквозь которые гонят человечьи стада

и фасующих их вертухаев,
и для бесперебойной работы нужен только дешевый бензин.

а бензина у нас с керосином на столетия педикюлеза,
на казенных кишаших нефтесосущих и кровопускающих гнид,
их травы — не травы, не берет их никакая к чертям передоза,
это время нас моет и лечит, не отбелит, так хоть отболит...

(короткий просвет)

жить лучше всего после большой войны
каждый второй убит и некому враждовать
а победителям с той либо с другой стороны
впору себя лечить а не других доставать

вот как случается мир зло утомляется злом
как отжимается пресс когда устает металл
и никакой гуманизм а просто металлолом
как и наши мозги — груда старых лекал

все что имеет цель будет сдано в утиль
те кто остались в живых сами как вторсырье
но если устать хотеть за сказку сгодится быть
и выдыхается страх в побитое молью тряпье

а следом линяет власть когда истуканы пусты
бронзовомозглый приплод каменных скифских баб
однажды вдруг забредешь по малой нужде в кусты
а там в забытии стоит кто был когда-то не слаб

и окропляя листву думаешь вот дела
действует Божий суд которым стращал поэт
но не карающий меч а лучевая игла
и за стежком стежок сшивается белый свет

латаются дыры времен попавших в системный сбой
а тот кто хотел их связь по-своему перекроить
сливается в небытие сдувается сам собой
архангел вдевает в ушко свою световую нить

и кажется здесь кипел безжалостный важный труд
здесь пучились орды племен давились кричали ура
вершили в ознобе страстей свой праведный самосуд
дудели про прочность основ а это была дыра

как нечего делать петлять в тугих завихреньях эпох
пока не заштопают их сойдя с прядевьющих небес
и этот короткий просвет любого накроет врасплох
не вяжется в головах и с царством идет в разрез



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Листок на стене (Вадим Месяц)</i>	7
в винительном падеже	13
ребенок в комнате	14
(портрет в среде обитания)	15
(взгляд)	16
сентябрь-81	17
(по москва-реке)	18
(снегопад)	19
(портрет автора)	20
(портрет героини)	21
(воспоминание о герое)	22
(самоубийство героя)	23
(действующие лица)	24
ночной снегопад	25
вдохновение	26
«мы думали еще до своего рожденья...»	27
два отражения	28
проекция	30
(у радиоприемника)	31
осень. ночной пейзаж	32
анатомический пейзаж	33
припоминание	34
учебный натюрморт	35
плачущее изваяние	36
поезд	37
опознание I	40
шестикрыл	41
(7-16)	42
автопортрет	43
нина	44
сельский вид	45
лунная ночь	46
письменная речь	47
(пауки)	48
пивная палатка	49
дачные радости	50
облезлая элегия	51

опознание II	52
посторонние мысли	53
муха	55
сентиментальное путешествие	
или почти сентиментальное путешествие	56
(вид из окна)	58
страсти по Эвклиду	59
алкогольное путешествие	60
в ЦПКИО	62
банальные вещи	63
дежурная вечность	64
стихи о свободе (опыт реализма)	65
(из евангелия от травы)	69
(первое стихотворение)	70
монолог патриота	72
(Париж-Москва)	73
Париж-Москва проездом	74
вечный жид	76
(подражание державину)	77
(интерпретация)	78
(Нине Искренко)	79
(из Имперских хроник)	80
пессимистическая интермедия	82
стихи о вечном солдате или кармические дела	83
будь прохожим	85
(возрастное)	87
(обывательское)	88
Рождество (<i>в годовщину памяти Нины Искренко</i>)	89
на Рыбьем Наречьи	91
(это и то)	92
(анти-родина или прыжок с трамплина)	93
(топография места жительства)	94
новодевичий	96
конечная станция	98
(в процессе чтения)	100
весна	101
(динамика прожитой жизни)	102
(кредо на текущий момент жизни)	103
(семейное счастье)	104

(возвращение блудного гамлета)	105
случай	106
(место встречи изменить нельзя)	108
(предсказание)	110
(апокалипсис зимой)	111
(из жизни растений)	112
(у пешеходного перехода)	114
сумерки жизни	116
(констатация)	118
(два берега)	119
(определение)	120
(зависимость)	121
(обратная перспектива)	122
(выход)	123
(слабые мира сего)	124
(снегопад)	125
(смена поколений)	126
(восьмидерасты)	127
(попутчица)	129
синхронный срез	130
большая стирка	132
(короткий просвет)	134



Марк Шагуновский
СВЕРХМОТИВАЦИЯ
Книга стихотворений

Поэтическая серия «Русского Гулливера»

Руководитель проекта Вадим Месяц
Главный редактор серии Андрей Тавров
Макет и верстка Валерий Земских

«Русский Гулливер»
тел. +7 495 159-00-59
<http://gulliver.commentmag.ru>
e-mail: a_tavrov@mtu-net.ru

Подписано к печати 00.00.2009. Формат 140 × 200.
Бумага офсетная. Гарнитура NewtonС.
Печать офсетная. Тираж 300 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Cherry Pie»
112114, г. Москва, 2-й Кожевниковский пер., 12